Н. О. ЛЕРНЕР

ПРОЗА ПУШКИНА

Издание 2-ое,
исправленное и дополненное



Книгоиздательское Товарищество „КНИГА“
Петроград, Просп. 25 Октября, 74, тел. 1-34-34
Москва, Тверская, 38, тел. 2-64-61

Типография Коминтерна. Екатерингофский пр., № 87.
Главлит № 5154. 3 500 экз.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Предлагаемый очерк — единственный покуда цельный и в общих чертах полный обзор творчества Пушкина в прозе. Этим одним может быть оправдано его переиздание. Первоначально он был напечатан в 1908 г. в I томе выпущенной товариществом „Мир“ „Истории русской литературы XIX века“. Пушкину в этом коллективном труде были посвящены две статьи: Д. Н. Овсянико-Куликовский дал анализ его стихотворческого наследия, а я рассмотрел прозу—в отношении формы и содержания, теоретически и исторически. В критике, отнесшейся весьма одобрительно к моей работе, мне помнится одно указание, которое я не считаю возможным оставить без краткого возражения, тем более, что то же мнение не однажды высказывалось разными лицами устно и покойному Д. Н. Овсянико-Куликовскому, и мне. Многим казалось и кажется произвольным, механичным разделение творчества Пушкина на поэзию и прозу; в этом, по их мнению, искусственном „разрезе“ они склонны усматривать какое-то нарушение душевного единства, насильственное раздробление целостного образа художника. В таком упреке, кроме обычного невнимания к формальной стороне искусства, — точнее к самому искусству,—выразилось не менее обычное непонимание пушкинского творчества, даже хуже того— слабое знакомство с ним. Уже из первых страниц настоящего очерка видно, что это различие признавалось

и резко проводилось самим поэтом, высшим судьею и над самим собою, и над своим делом, что он сам настойчиво отделял в себе поэта от прозаика, в словесном искусстве — поэзию от прозы. Исследователь не может не дорожить удобствами, представляемыми этим естественным разделением.

Появившись первоначально в монументальном и дорогом сборнике, притом давно не встречающемся в продаже, очерк мой был доступен сравнительно небольшому числу читателей. Выйдя ныне отдельным изданием, он принесет, надеюсь, свою долю пользы как широким читательским кругам, так и школе, не исключая высшей, где давно уже читаются о Пушкине специальные курсы, в связи с которыми ведутся семинарские занятия. Разумеется, я не считаю свою работу совершенно исчерпывающей предмет и заранее признаю ее слабые стороны. Буду рад, если то немногое, что она дает, будет и на этот раз признано хоть сколько-нибудь ценным.

Н. Лернер.

12 ноября 1922.

I.

Поэт затмил в Пушкине прозаика. Он сам сознавал это и свою прозу ставил ниже своих стихов. Только для стихов нисходил на него „быстрый холод вдохновенья“, и именно наличность лирического пафоса считал он неот‘емлемой принадлежностью поэзии стиха, ритма, которую резко отграничивал от прозы. „Вдохновения еще нет, — писал он однажды Дельвигу, — покамест принялся я за прозу“. В очень ядовитой заметке 1822 г. о слоге современных русских журналистов, которые вдавались в неимоверную фальшь и слащавость, „почитая за низость из‘яснять просто вещи самые обыкновенные“, и старались „оживить детскую прозу дополнениями и метафорами“, Пушкин жаловался: „эти люди никогда не скажут дружба, не прибавив: сие священное чувство, коего благородный пламень *), и пр. Должно бы сказать: рано поутру,

*) Выражение это вошло у Пушкина в поговорку; см., например, одно из писем 1825 г. к Дельвигу (академ. издание переписки Пушкина, I, 230). Он потешался над „сим священным чувством“, связывавшим знаменитых Булгарина и Греча („Торжество дружбы“, 1831). Насмешку над этим слогом находим в одном из писем поэта к брату (1824, ibidem, 165), которого он просит прислать „витую сталь, пронзающую просмоленную главу бутылки, т.-е. штопор“.

а они пишут: едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба. Как это все ново и свежо! разве оно лучше потому только, что длинно?". При этом Пушкин выразил свой взгляд на основное различие между прозой и поэзией. „Точность, опрятность — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей; блестящие выражения ни к чему не служат; стихи — дело другое (впрочем, и в них не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно: с воспоминаниями о протекшей юности литература наша далеко не подвинется)"... Справедливо смотря на свою эпоху как на начало национальной русской литературы, а на себя как на новатора, пролагателя путей, он говорил: „все должно творить в этой России и в этом русском языке". Язык стиха у нас созрел гораздо раньше языка прозы. Великолепный стих Державина был тогда, когда еще не являлся Карамзин с своей прозой, которую Пушкин считал „лучшей в нашей литературе", прибавляя однако: „это еще похвала небольшая". Через два года, размышляя о „причинах, замедливших ход нашей словесности", Пушкин развил свою мысль несколько подробнее. „Исключая тех, которые занимаются стихами, русский язык ни для кого еще не может быть довольно привлекателен; у нас нет еще ни словесности, ни книг; все наши знания, все наши понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных; мы привыкли мыслить на чужом языке; метафизического языка у нас вовсе не существует. Просвещение века требует важных предметов для пищи умов, которые уже не могут довольствоваться блестящими игрушками, но ученость, политика, философия по-руски еще не из'яснялись. Проза наша еще так мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты для понятий самых обыкновенных, и леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы давно уже

готовы и всем известны". Этого развития желал он русскому языку: „дай Бог ему,—писал он Вяземскому,— когда-нибудь образоваться на подобие французского (ясного, точного языка прозы, т.-е. языка мыслей)... Русский метафизический язык находится у нас еще в диком состоянии. Об этом есть у меня строфы три и в Онегине". В прозе самого Вяземского Пушкин подметил как раз уменье выражать мысли *): „проза кн. Вяземского чрезвычайно жива. Он обладает редкой способностью оригинально выражать мысли".

Стихи у Пушкина были плодом чистого вдохновения, того высокого душевного под'ема, которым никогда не сопровождалось его прозаическое творчество. Вот почему они были ему бесконечно дороже прозы. С чрезвычайной красотой и силой рассказал Пушкин, как рождался его стих. Обращаясь к своей чернильнице, „подруге думы праздной", он говорил (1821 г.):

В минуты вдохновенья
К тебе я прибегал
И Музу призывал
На пир воображенья.
Прозрачной, легкой дым
Носился над тобою..
Заветный твой кристал
Хранит огонь небесный:
И под вечер, когда
Перо по книжке бродит,
Без всякого труда
Оно в тебе находит

---

*) См. мелкие заметки Пушкина (изд. Лит. фонда, V, 165).—Еще в 1823 г. Пушкин писал Вяземскому (6 февраля): „твои стихи... все прелесть, да ради Христа прозу-то не забывай; ты да Карамзин один владеет ею"... В 1827 г. Пушкин повторил в письме к Погодину (31 авг.), что Вяземский „мыслит, сердит и заставляет мыслить и смеяться; важное достоинство, особенно для журналиста!"

Концы моих стихов
И верность выраженья,
То звуков или слов
Нежданное стеченье,
То едкой шутки соль,
То (правды?) слог суровой,
То странность рифмы новой,
Неслыханной дотоль...

В эти минуты вдохновенья невольно являлся стих; поэтическое волнение успокоивалось лишь после того, как укладывалось в стройную ритмическую форму. Когда поэтом „демон обладал", демон поэзии, и он писал только „из вдохновенья", тогда, рассказывает Пушкин („Разговор Книгопродавца с Поэтом", 1824 г.)

тяжким пламенным недугом
Была полна моя глава,
В ней грезы чудные рождались,
В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались...

Эти минуты чаще навещали поэта любимой им осенью, когда ему так мечталось у „забытого камелька" („Осень", 1830 г.).

Я забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем—
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута—и стихи свободно потекут.

Необычайно характерно двукратное применение в этом стихотворении слова „свобода" к стиху, ставя-

щему поэтической речи свои суровые законы. С этим рассказом Пушкина о процессе творчества можно сопоставить следующую выдержку из „Египетских ночей“ (1835 г.): „Однажды утром Чарский чувствовал то благодатное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами, и вы обретаете живые, неожиданные слова для воплощения видений ваших, когда стихи ложатся под перо ваше, и звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли. Чарский погружен был душою в сладостное забвение... и свет, и мнения света, и его собственные причуды для него не существовали. Он писал стихи“. „Египетские ночи“ написаны прозою, но когда их герой, импровизатор, а с ним Пушкин, „почувствовал приближение бога“, у Пушкина вылились знаменитые стихи — „Чертог сиял“...

Влюбленным мальчиком (1815 г.), встретив девушку, к которой он был неравнодушен, и быв „счастлив пять минут“, он выразил в дневнике, который вел, конечно, прозой, свое волнение стихами:

Итак я счастлив был, итак я наслаждался,
Отрадой тихою, восторгом упивался!... и т. д.

Рассказал поэт и про тяжелую борьбу с непослушным стихом в те часы, когда „муза дремлет“:

Беру перо, сижу, насильно вырываю
У музы дремлющей несвязные слова.
Ко звуку звук нейдет... Теряю все права
Над рифмой, над моей прислужницею странной:
Стих вяло тянется, холодный и туманный.
Усталый, с лирою я прекращаю спор...

Так вдохновенно, торжественно и любовно говорил Пушкин о своих стихах, показывая кристалльно-чистые глубины своего творчества с его радостями и трудностями. Далеко не таково его отношение к прозе, и лучшая часть его души сказалась не в прозе, а в сти-

хах. „Стихотворение в прозе“ — нечто непонятное, чуждое Пушкину. „Прозаик, — говорит о нем князь П. А. Вяземский *), — крепко-на-крепко запер себя в прозе, так, чтобы поэт не мог и заглянуть к нему. Впрочем, такое хладнокровие, такая мерность были естественными свойствами дарования его, особенно когда выражалось оно прозою. Он не любил бить на эффект, des phrases, des mots à effets, как говорят и делают французы. Может быть, доводил это правило до педантизма“. И мы редко встречаем в прозе Пушкина даже такие сравнительно скромные образы, как например: „литература, ученость и философия оставляли тихий свой кабинет и являлись в кругу большого света“ („Арап Петра Великого“). В наброске о причинах, замедливших ход русской словесности, отвлеченные понятия являются в виде живых олицетворений: „ученость, политика, философия по-русски еще не из‘яснялись“ (в „Онегине“: „доныне дамская любовь не из‘яснялася по-русски“). В одной автобиографической заметке Пушкин рассказывает: „на дороге встретил я Макарьевскую ярмарку, прогнанную холерой. Бедная ярмарка! Она бежала, разбросав вполовину свои товары, не успев пересчитать свои барыши“. В другом месте неодушевленному предмету придан эпитет, применяемый всегда к одушевленным: „звон тарелок и деятельных ложек возмущал один общее безмолвие“. Но такие примеры у Пушкина, повторяем, редки, и вся роскошь, все богатство изобразительных средств, которыми он владел, достались его стиху.

„Лирического волненья“ не чувствуется нигде в его прозе, ровной, спокойной, — она эпична, но умеет легко и просто находить доступ к сердцу читателя. Сначала невольно, инстинктивно, а потом и теоретически Пушкин определил раз навсегда, что проза — язык мысли, стихи — язык вдоновенья, лирического

---

*) Соч. Вяземского, II, 375.

волненья, которое для него было выше мыслительной, логической работы. Однажды он сочувственно повторил слова другого поэта: „пускай в стихах моих найдется бессмыслица, зато уж прозы не найдется“. Отсюда — его несколько пренебрежительное отношение к прозе. Как отчетливо и резко отделяет Пушкин прозу от стиха, видно из одного места в „Онегине“, где, желая нарисовать коренное, глубокое различие в характерах Онегина и Ленского, он прибегает к такому сравнению:

Волна и камень,
С т и х и и п р о з а, лед и пламень
Не так различны меж собой.

Поэт говорит своей чернильнице:

Оставь, оставь порой
П р и в ы ч н ы е з а т е и,
И дактиль, и хорей,
Для п р о з ы п о ч т о в о й.

Прозе он полушутя, полусерьезно придает обидные эпитеты. В одном письме к брату, 1825 г., Пушкин говорит: „презренная проза мне надоела“. В „Графе Нулине“ он опять называет ее „презренной“ — „в последних числах сентября (п р е з р е н н о й п р о з о й говоря)“... В „Онегине“ он обещает когда-нибудь „унизиться до с м и р е н н о й п р о з ы“ и написать „роман на старый лад“. Это же выражение повторено в одном из писем о „Борисе Годунове“: „в некоторых сценах унизился даже до п р е з р е н н о й п р о з ы“, писал Пушкин в 1827 г. Прочитав в 1821 г. книгу Д. В. Давыдова „Опыт теории партизанских действий“, Пушкин в послании к поэту-казаку шутливо удивлялся:

О, горе! молвил я сквозь слезы,
Кто дал Давыдову совет
Оставить лавр, оставить розы?
Как мог у н и з и т ь с я д о п р о з ы
Венчанный музою поэт...

В первоначальном варианте „Путешествия Онегина“, вспоминая свою юность, поэт писал: „в поэтический бокал воды я много подмешал“; в исправленной редакции — „я много прозы подмешал“. „Презренная“ проза во всем уступает стиху. Поэт говорит пленившей его красавице (пьеса 1828 г.):

Увы, язык любви болтливой,
Язык и скромный, и простой,
Своею прозой нерадивой
Тебе докучен, ангел мой.
Ты любишь мерные напевы,
Ты любишь рифмы гордый звон,
И сладок уху милой девы
Честолюбивый Аполлон.
Тебя страшит любви признанье,
Письмо мое ты разорвешь,
Но стихотворное посланье
С улыбкой нежною прочтешь...

Казанской поэтессе А. А. Фукс он жаловался в 1833 г.: „Как жалки те поэты, которые начинают писать прозой; признаюсь, ежели бы я не был вынужден обстоятельствами, я бы для прозы не обмакнул пера в чернилы“ *). Едва ли Пушкин действительно питал такую непримиримую антипатию к прозе, к которой часто обращался не из-за одних „обстоятельств“, но мысль о предпочтении стихов прозе несомненно была им высказана. В следующем году Пушкин писал ей, обещая прислать „отвратительно ужасную историю

*) Цитир. по ст. Е. А. Боброва „А. С. Пушкин в Казани“ — „Пушкин и его современники“, вып. III, стр. 51. (См. также Анненков, „Материалы для биографии Пушкина“, изд. 2-ое, СПб., 1873, стр. 364).

Пугачева“: — „поэзия, кажется, для меня иссякла. Я весь в прозе, да еще в какой!.. право, совестно“...

Когда совершается „падение“ поэта („Разговор Книгопродавца с Поэтом“), который с грустью вспоминает о том времени, когда „писал из вдохновенья, не из платы... и музы сладостных даров не унижал постыдным торгом“, и он склоняется на здравое убеждение собеседника, что „не продается вдохновенье, но можно рукопись продать“, — пламенный, сверкающий стих оставляет его, и он заканчивает разговор „презренной прозой“: „вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся“. Зато председателю зловещего „Пира во время чумы“, пережившему целый ряд страшных душевных потрясений,

> странная пришла охота к рифмам
> Впервые в жизни,

и он поет полный оргиастического, сладострастного ужаса гимн в честь чумы...

Что Пушкин нисколько не преувеличивал, видя лишь в стихах „свободное проявление“ своей души, что ритмическая форма была больше по нем, и в ней он чувствовал себя легче, видно из одного любопытного явления, нигде не встречающегося в его стихах и нередко наблюдаемого в его прозе. Известно, как близок был Пушкину французский язык, язык его воспитания, обычный язык того общества, из которого вышел поэт. Это было время, когда не только „храбрый генерал служил и грамоте не знал“, но даже такие люди, как Чаадаев, предпочитали французский язык родному. Говорили и писали охотнее по-французски даже уездные барышни, „любимицы златой весны“ поэта, который принужден перевести с французского письмо Татьяны к Онегину.

> Еще предвижу затрудненье:
> Родной земли спасая честь,

Я должен буду, без сомненья,
Письмо Татьяны перевесть.
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала
И выражалася с трудом
На языке своем родном,—
Итак, писала по-французски...
Что делать! повторяю вновь:
Доныне дамская любовь
Не изъяснялася по-русски,
Доныне гордый наш язык
К почтовой прозе не привык.

До некоторой степени можно сказать о самом Пушкине то, что сказал он о своей Татьяне. Язык прозы, как сознавал и показал он сам, у нас образовался позднее стихотворного языка. Если дамы, и не только дамы, но и вся русская публика, не читали по-русски, то прежде всего потому, что по-русски читать было почти нечего. „У нас нет литературы"—общий вопль критики двадцатых и тридцатых годов (Пушкин, Вяземский, Полевой, Надеждин, Белинский). Надо было пройти блестящей пушкинской эпохе для того, чтобы явилась возможность русскому обществу читать и учиться без французского языка, уже начавшего утрачивать свою прежнюю необходимость. Прозаический язык Пушкину приходилось только еще выковывать, и его творческое наследие сохранило следы огромных трудностей этой работы.

„Французом называли меня задорные друзья", вспоминает поэт о своей лицейской жизни в одном из онегинских вариантов. Это прозвище осталось за ним надолго; в одном из шуточных протоколов лицейского праздника в числе прочих „скотобратцев", как называли друг друга лицеисты первого выпуска, упоминается и „Пушкин-француз". В детстве Пушкин сочинял французские комедийки-импровизации, басни-подражания

Лафонтену и эпиграммы на своих учителей *). Сохранилось известие и о русских стихах, но оно не особенно достоверно **). Среди лицейских стихов Пушкина попадаются французские. Не без основания можно приписать Пушкину сохранившуюся в его черновых бумагах остроумную и язвительную французскую эпиграмму „A son amant. Eglé sans résistance"... (1821 г.). В другой черновой тетради Пушкина вслед за известным наброском „Лишь розы увядают"... идет перевод этого наброска французскими стихами: „Ses manes parfumés"... и т. д.; перевод испещрен множеством поправок и носит все обычные у Пушкина следы упорной работы над стихом ***).

Посылая Жуковскому в 1825 г. черновик прошения на высочайшее имя, Пушкин говорит: „Пишу по-французски, потому что язык этот деловой и мне более по перу". „Ecrivez moi en russe—писал Пушкину в 1831 г. Чаадаев,—il ne faut pas que vous parliez d'autre langue que celle de votre vocation". Поэт отвечал другу: „je vous parlerai la langue de l'Europe, elle m'est plus familière que la notre". Что это было так, можно убедиться из более или менее близкого знакомства с пушкинской прозой. Еще Анненков обратил внимание на множество рассеянных там и сям у Пушкина полурусских, полуфранцузских фраз, которые он отметил

---

*) Анненков, „Материалы", стр. 12—13; воспоминания брата Пушкина в сборнике Л. Н. Майкова „Пушкин", СПб., 1899, стр. 4.

**) „Современник", 1843, т. XXIX, стр. 380—81.

***) Румянцов. музей, тетр. № 2370, л. 56 об. В. Е. Якушкин („Русск. Стар. 1883, июль, 30), который не мог разобрать эти стихи, хотя они читаются легко, и П. О. Морозов (Сочинения Пушкина, изд. „Просвещения", II, 388) по ошибке приняли их вместо перевода за оригинал наброска „Лишь розы увядают".

как „особенности пушкинского таланта". „Удивительно развитое чувство русского языка—говорит критик *),— нисколько не портилось и нисколько не потемнялось в нем тем, что он мыслил иногда на чужом языке. В беглых заметках, писанных для себя, наскоро, чудно мешаются у него оба языка, смотря по тому, какой пришел первый на мысль. Пушкин по произволу сбрасывал, когда хотел, всякую чуждую примесь и допускал ее потом без малейшего ущерба для своей народной русской речи. Почти нет заметки в его бумагах без галлицизмов и без французских фраз".

Анненков не совсем верно приписывает Пушкину уменье легко, по произволу, менять оба языка. Поэт был прав, когда говорил, что французский язык ему „ближе нашего". Это видно из ряда писем и заметок, где Пушкин, чувствуя недостаток в русских словах или невозможность выразить по-русски то или иное понятие, прибегал к французскому языку. Таких примеров в его черновых тетрадях очень много. Вот некоторые из них.

„Главная прелесть романов W. Scott состоит в том, что мы знакомимся с прошедшим временем, не с enflure французской трагедии, не с чопорностью чувствительных романов, не с dignité истории, но современно, домашним образом. Они не походят (как герои французские) на холопей, передразнивающих la dignité et la noblesse"... Кончается заметка уже совсем по-французски. В черновой рецензии на книгу А. Н. Муравьева „Путешествие к св. местам" читаем: „он traverse Грецию, préoccupé одною великою мыслию". Ломоносов,—писал Пушкин в одном из черновиков „Мыслей на дороге", — „обращается к точным наукам dégoûté славою Сумарокова... Французская обмельчавшая сло-

*) Анненков, Материалы, 130—131, 231.

весность envahit tout"... „Для нашей литературы il est indifférent, что такая-то глава Онегина выше или ниже другой". Очевидно, галлицизм „безразлично" еще не вошел в язык, и Пушкин затруднялся, как передать по-русски „il est indifférent". Плохой галлицизм „бравировать" узаконен обычаем лишь в наши дни и то встречается больше в газетах. Пушкин не знал, как передать по-русски это слово, когда писал Вяземскому в 1825 г.: „презирать (braver) суд людей не трудно"... Когда появляется на блестящем бале Татьяна, уже княгиня, Пушкин так описывает ее:

Она казалась верный снимок
Du comme il faut... Шишков! прости:
Не знаю, как перевести...
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar. Не могу...
Люблю я очень это слово.
Но не могу перевести:
Оно у нас покамест ново,
И вряд ли быть ему в чести...

Но оба слова попали в честь, хотя остались без перевода, и так и вошли в нашу разговорную речь. Вот еще маленький пример такого затруднения, которого Пушкин, заметим, не поборол и так и оставил в печати: „оно невольно увлекает необыкновенною силою рассуждения (discussion)"; действительно, слово „рассуждение" плохо передает понятие, выражаемое французским „discussion". Желая в одной из „Повестей Белкина" („Барышня-крестьянка") пояснить значение неологизма „самобытность", Пушкин поставил в скобках — „(individualité)". В другой заметке читаем: „изо всех рядов сочинений самые (invraisemblance) неправдоподобные"... „Она оскорбит надменные его привычки (dédaigneux)"... „Истинный вкус,—писал Пушкин в чер-

новой программе статьи о Боратынском,—не в том стоит, что в безотчетном отвержении dédaigne такое-то слово... Никто более Боратынского n'a mis (это слово зачеркнуто и тут же переведено по-русски)— не вложил чувства в свои мысли"... Неразборчивое французское слово встречается и в одной из программных заметок, относящихся к „Капитанской дочке": „Башарин дорогой во время бурана спасает Башкирца (le m...)" и т. д. Анненкову был известен один черновой листок из пушкинских бумаг, где записаны имена Rouslane et Ludmilla: „первая мысль о названии поэмы, — говорит биограф, — „представилась Пушкину во французской форме".

Мысль, которую Пушкин торопился записать, следуя за ее быстрым ходом, очевидно, часто возникала в его голове во французском выражении. Наскоро набросанные программы предположенных работ Пушкин записывал или по-французски, или смешивая оба языка. По-французски записаны программы „Сцен из рыцарских времен" и фантастической драмы о папессе Иоанне. Некоторые программы выделяются смешением обоих языков — например, наброски, относящиеся к задуманному, но не написанному роману „Русский Пелам"; там попадаются такие фразы: „он влюбляется в бедную ветреную девушку, увозит ее, впадает в бедность, cherche distractions chez sa première maîtresse, devient escroc et dueliste, доходит до разбойничества... Знакомится с Ф. Орловым dans la mauvaise société, помогает ему увезти девушку... devient exécuteur testamentaire de Ф. Орлов... Une danseuse—Пелымов с нею знакомится... Дружится с Zavadovski... Норовой et son duel" и проч. Таким же языком изложены программы статей о дворянстве, где Пушкин записал свои любимые мысли о значении дворянского сословия: „дворянство—la sauvegarde трудолюбивого класса... Lâcheté de la haute noblesse (между прочим и моего пращура Никиты Пушкина)... Pierre I. Son указ de 1714... Pierre III.

Истинная причина дворянской грамоты. Екатерина, Alexandre, Новосильцов, Чарторижский, Кочубей, Speransky, popovitch turbulent et ignare"... Чрезвычайно характерно, что в этих программах некоторые русские фамилии (Завадовский, Сперанский), даже слово „попович" переданы во французской транскрипции. Это особенно свидетельствует о привычке Пушкина думать, писать и говорить по-французски.

Язык Пушкина пестреет галлицизмами, попадающимися положительно на каждом шагу. Он их не только не избегал, но очень охотно ими пользовался, видя в них не недостаток, а необходимость. „Ты хорошо сделал, —писал он однажды Вяземскому,—что заступился явно за галлицизмы. Когда-нибудь должно же вслух сказать, что русский метафизический язык находится у нас еще в диком состоянии". Он далеко не шутил, когда говорил, что ему „галлицизмы милы" *). „Множество слов и выражений,—писал он,—насильственным образом введенных в употребление, остались и укоренились в нашем языке". Но, конечно, право на такие заимствования он ограничивал необходимостью, указывая литературе неисчерпаемо-богатый источник в сокровищнице родного языка и даже жалуясь на чрезмерное влияние французского языка: „разговорный язык простого народа (не читающего иностранных книг и, слава Богу, не искажающего, как мы, своих мыслей **)

---

*) Вот примеры галлицизмов в „Повестях Белкина": „имея право выбирать оружие, жизнь его была в моих руках", „управление села" и др. „Воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для нее" и т. д. („Дубровский").

**) Спросили Пушкина на одном вечере про барышню, с которой он долго разговаривал: как он ее находит, умна ли она? „Не знаю, — ответил Пушкин очень строго и без желания поострить—ведь я с ней говорил по-французски" („Русск. Архив" 1886, III, 432).

на французском языке) достоин глубочайших исследований. Альфиери изучал итальянский язык на флорентинском базаре. Не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирням: они говорят удивительно чистым и простым языком". Становится ясно, какой громадный труд в изучении и развитии языка преодолел Пушкин, шагнувший от мысли, являвшейся при своем рождении очень часто в оболочке чужого языка, до блестящего, удивительно национального языка „Капитанской дочки". Изучение живой народной речи, старой письменности и великое художественное чутье сделали свое дело. Художественная проза далась Пушкину после огромного труда, более настойчивого и упорного, чем ковка стихов. В его тетрадях сохранился целый ряд грамматических заметок и наблюдений, показывающих, как усердно учился он прозаическому языку. Замечательно, что таких же заметок о стихе у Пушкина находим сравнительно совсем мало. Проза с ним жила не так „запросто", по его выражению, как рифмы, которые „две придут сами, третью приведут". „Вот уже 16 лет, как я печатаю",—писал он однажды в своих заметках *),— „и критики заметили в моих стихах пять грамматических ошибок (и справедливо); я всегда был им искренно благодарен и всегда поправлял замеченное место. Прозой пишу я гораздо неправильнее, а говорю еще хуже и почти так, как пишет Гоголь" **). И, действительно,

---

*) Мнения тогдашних критиков, которым был благодарен Пушкин, однако, показались сомнительными такому знатоку и теоретику языка, как акад. Ф. Е. Корш („Разбор вопроса о подлинности окончания „Русалки" А. С. Пушкина по записи Д. П. Зуева", СПб., 1898, стр. 75—76, прим.).

**) В рецензии на второе издание „Вечеров на хуторе", помещенной в I кн. „Современника", Пушкин снова отметил „неровность и неправильность слога" Гоголя. Но на эту неправильность, надо заметить, он смотрел как на привиле-

гораздо легче найти неправильности в пушкинской прозе, чем в стихах.

Чувствуя слабость и бедность русской литературы вообще в отношении прозы, Пушкин старался о насаждении прозы. Отсюда—его чрезвычайное внимание ко всем новинкам русской прозы; все явления в этой области он старательно отмечал и подчас радушно приветствовал (рецензии в „Литературной Газете", в „Современнике"). В царстве стиха Пушкин сознавал себя способным одному все вынести на своих плечах, одному ответить за всю русскую литературу, но в области прозы он сам не считал себя настолько же сильным. Поэтому к прозаикам он относился гораздо снисходительнее, чем к поэтам, и всячески поощрял их. Плетневу, издававшему после смерти Дельвига „Северные Цветы", он настоятельно советовал (1831 г.): „проза нужна". Собираясь в 1832 г. издавать газету, он шутливо писал одному знакомому (кажется, Погодину): „стихотворений помещать не намерен, ибо и Христос запретил метать бисер перед публикой; на то проза-мякина". В черновике письма эта мысль высказана серьезнее и яснее: „стих. печатать я в ней не буду, потому что возвращаться к Русл. и к Плен. я не намерен, и Бог запретил"... и т. д. Эти слова указывают на чрезвычайно серьезное отношение Пушкина к прозе, перед задачами которой ему показались пустяками поэмы романтической юности. Еще в Одессе он подумывал о повестях в прозе, — материалом для них должны были служить рассказы двух гетеристов, с ко-

---

гию творчества. „Вы неправильны до бесконечности,—писал он Погодину о его „Марфе Посаднице"—ошибок грамматических, усечений, сокращений тьма. Но знаете ли? И эта беда не беда. Языку нашему надобно воли дать более—разумеется, сообразно с духом его" (Переп. П—а, академ. изд., II, 195).

торыми поэт встречался в Кишиневе,—и он жаловался на трудность этого рода творчества: „с прозой — беда! Хочу попробовать этот первый опыт“ *). Обозревая в двадцатых годах скудную русскую прозу, Пушкин иронически воскликнул: „Хорош российский Геликон“, и повторил в стихах мысль, высказанную в прозе („у нас нет еще ни словесности, ни книг“):

Сокровища родного слова,—
Заметят важные умы,—
Для лепетания чужого
Пренебрегли безумно мы.
Мы любим муз чужих игрушки,
Чужих наречий погремушки,
А не читаем книг своих.
Да где ж оне? Давайте их!
Конечно, северные звуки
Ласкают мой привычный слух...
Их музыкой сердечны муки
Усыплены; но дорожит
Одними ль звуками пиит?
И где ж мы первые познанья
И мысли первые нашли?
Где поверяем испытанья,
Где узнаем судьбу земли?
Не в переводах одичалых,
Не в сочиненьях запоздалых,
Где русский ум и русский дух
Зады твердит и лжет за двух.
Поэты наши переводят
Или молчат; один журнал
Исполнен приторных похвал
Тот—брани плоской; все наводят
Зевоту скуки, чуть не сон:
Хорош российский Геликон!

„Наша словесность,—писал Пушкин в 1830 г.,—с гордостью может выставить перед Европою Историю Карамзина, несколько од, несколько басен, поэм, перевод

---

*) „Русский Архив“ 1866, ст. 1410.

Илиады, несколько цветов элегической поэзии"... Единственным образцом прозы, могущим претендовать на существенное, европейское значение, Пушкин, таким образом, считает труд Карамзина, пред которым он, как известно, даже чрезмерно благоговел. О заслуге Карамзина в деле развития прозы он говорил в „Мыслях на дороге": „однообразные и стеснительные формы, в кои отливал Ломоносов свои мысли, дают его прозе ход утомительный и тяжелый. Эта схоластическая величавость, полуславянская, полулатинская, сделалась было необходимостью; к счастию, Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова".

Ту же мысль о ничтожестве русской прозаической литературы Пушкин выразил словами рассказчицы своего „Рославлева": „вот уже, слава Богу, лет тридцать, как бранят нас, бедных (женщин), за то, что мы по-русски не читаем и не умеем (будто бы) изъясняться на отечественном языке... Дело в том, что мы и рады бы читать по-русски, но словесность наша, кажется, не старее Ломоносова и чрезвычайно еще ограничена. Она, конечно, представляет нам несколько отличных поэтов, но нельзя же от всех читателей требовать исключительной охоты к стихам. В прозе имеем мы только Историю Карамзина; первые два или три романа появились два или три года тому назад, между тем как во Франции, Англии и Германии книги, одна другой замечательнее, поминутно следуют одна за другой. Мы не видим даже и переводов; а если и видим, то, воля ваша, я все-таки предпочитаю оригиналы. Журналы наши занимательны для наших литераторов. Мы принуждены всё, известия и понятия, черпать из книг иностранных; таким образом и мыслим мы на языке иностранном (по крайней мере все те, которые мыслят и следуют за мыслями человеческого рода). В этом признавались мне самые известные наши литераторы. Вечные жалобы наших писателей на пренебрежение, в

коем оставляем мы русские книги, похожи на жалобы русских торговок, негодующих на то, что мы шляпки наши покупаем у Сихлер и не довольствуемся произведением костромских модисток"...

Роль самого Пушкина в истории развития прозаической литературной речи верно определил проф. Н. П. Некрасов в прекрасной статье „К вопросу о значении А. С. Пушкина в истории русского литературного языка" *). „Со времени литературной деятельности Карамзина,—говорит Некрасов,—для прозы стали обязательными качества изящной речи: плавность и благозвучие или то, что он называл французским словом élégance, которое переводилось по-русски выражением „приятность слога"... И до Пушкина литературный язык со стороны изящества форм представляется значительно обработанным другими писателями. Однако, сравнив язык произведений Пушкина с языком их произведений, ясно видим превосходство первого над последним. Вникнув глубже в различие их достоинств, мы приходим к заключению, что изящество речи до Пушкина было в сущности внешним: оно касалось, главным образом, звуковой стороны языка, формы литературных выражений. Пушкин не мог не заметить этой односторонности. Он видел, что так-называемая „приятность слога" в прозе удобно переходила под пером своих усердных ревнителей в изысканность, вычурность и приторность речи. Он ясно понимал, что это следствие разобщенности формы от содержания. Для него, как для художника, изящество внешней формы словесного произведения представлялось неразрывным с внутренним его содержанием: одно взаимно обусловливалось другим, потому что только при этом условии возможно изящество литературного языка как

*) „Памяти А. С. Пушкина". Юбилейный сборник. Изд. журн. „Жизнь", СПб., 1899, стр. 221 (первоначально в „Журн. Мин. Нар. Просвещ." 1888 г., № 9).

нечто действительное, прочное и поставленное вне опасности принять ложное направление в своем дальнейшем развитии. Согласно с этим Пушкин и основал изящество литературного языка в своих произведениях на таких его качествах, которые вытекают из самой сущности или природы главнейших форм речи—прозаической и стихотворной, при условии полного соответствия между внешним выражением и внутренним его содержанием, и таким образом внес в изящество речи начало художественности". С краткой и строго определенной пушкинской теорией прозы мы уже знакомы. Ее основные элементы—„мысли и мысли" для содержания, „точность и опрятность" для формы. Сочетание обоих этих элементов дает художественную прозаическую речь. Такова именно была проза Пушкина. В его деятельности,—писал Катков *), „успокоился внутренний труд образования языка; в Пушкине творческая мысль заключила ряд своих завоеваний в этой области, разделалась с нею и освободилась для новых задач, для иной деятельности. Настоящий русский язык есть уже язык совершенно создавшийся, принявший все впечатления образующей силы и дающий полную возможность для всякого умственного развития".

Прозаический язык Пушкина, не меньше, чем поэтический, отличается чрезвычайным лексикологическим и синтактическим богатством. Он не боялся таких архаических форм, каких давно избегал заботливый и осторожный Карамзин, и не отступал перед неологизмами и варваризмами, когда признавал их нужными. Пушкинский слог можно определить именно как блистательный образец художественной простоты, достигаемой самыми разнообразными средствами, которыми поэт распоряжается с самодержавной властностью ве-

*) „Русск. Вестн." 1856 г., январь и март; переп. в брош. „М. Н. Катков о Пушкине", М., 1900, стр. 54.

ликого гения, прорубающего свою дорогу. Галлицизмы мелькают рядом с славянизмами; новые, еще почти чуждые русскому уху слова стоят рядом с ветшающими старинными формами. Но своеобразная прелесть простой, мужественной речи так действует на читателя, что его вкус не оскорбляется даже очевидными неправильностями, которых у Пушкина немало вроде такого выражения: „а если сознания (в смысле—„признания“), требуемые г. Полевым, и заслуживают какое-нибудь уважение, то можно ли нам оные слушать из уст почтенного старца“; „графиня следовала (т.-е. следила) за всеми его движениями, вслушивалась во все его речи“.

„У Пушкина, — говорит Катков *), — впервые легко и непринужденно сошлись в одну речь и церковно-славянская форма, и народное речение, и речение этимологически чуждое, но усвоенное мыслию как ее собственное, ни одному языку исключительно не принадлежащее и всеми языками равно признанное выражение“. Старинные слова: „оный“, „сей“, „токмо“, „кои“, „отменно“ (т.-е. очень, весьма), „таковой“ (т.-е. такой), „потребный“, „единый“ (часто вместо—один), народные формы и слова вроде „отымать“, „убивство“, „вечòр“, „вчерась“, „брюхата“ (даже глагол „обрюхатить“), „эдакий“, „на сносях“, „тетёха“, „чаю“ (т.-е. думаю) и т. под. у Пушкина встречаются очень часто. На последние он смотрел как на свое неот’емлемое достояние. Еще в 1825 г. он писал о судьбах русского литературного языка: „простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного, но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей“. Прекрасный знаток и глубокий исследователь языка Ф. Е. Корш верно подметил, что в пушкинской прозе очень редко встречаются слова и фразы, сами собою, без желания автора, который этого даже не замечает,

*) Ib., 17

образующие стих. Указывая у Пушкина пример случайно размеренной речи: „есть тьма обычаев, поверий и привычек“ *), Корш говорит: „стихи в нашей прозе попадаются часто, где их совсем не ожидаешь, как в телеграммах, в полицейском дневнике происшествий, в об'явлениях и т. п.; есть примеры прямо смехотворные. Любопытно, что Писемский, которого трудно признать поэтом, был довольно щедр на стихи, вероятно сам того не сознавая и даже именно по этой причине. Что же касается Пушкина, то в его прозе едва ли найдется хоть какой-нибудь признак, по которому можно было бы догадаться, что он поэт. В этом отношении он истинный классик“. Прозаический стиль Пушкина (не говорим—язык, в котором поэт постепенно эволюционировал) отличается чрезвычайным постоянством; он установился почти сразу. „По тону рассказа,—справедливо замечает Анненков **),—„Арап Петра Великого“ и „Капитанская дочка“ так схожи, как будто написаны вместе, хотя их разделяют целые девять лет. С первого раза нашел Пушкин свой оригинальный стиль, чего другие не находят всю жизнь, несмотря на множество усилий“. Прелесть этого стиля оценил талантливый критик-лирик Ю. И. Айхенвальд ***), отозвавшийся в своих радостно-звонких „откликах“: „само естество смотрится в его творения как в зеркало. Ничего вычурного, красота без украшений, классический стиль природы и строгая чистота линий... Проза его—венец словесной прозрачности. Сама действительность, если бы захотела рассказать о себе, заговорила бы умной прозой Пушкина“...

Содержание пушкинской прозы поражает своим разнообразием. Небольшие рассказы, крупные повести, драматические опыты, критические статьи, рецензии,

*) „Разбор вопроса и т. д.“, стр. 312.
**) „Материалы“, 192.
***) „Пушкин“, М., 1908, стр. 21.

Мелкие заметки, мемуары, обширная переписка, исторические работы и заметки, сатирические и полемические статьи, многочисленные наброски самого разнохарактерного содержания... Размеры нашей работы не позволяют нам подробно, до мелочей, рассмотреть все богатство прозы Пушкина, и приходится коснуться лишь главного. Делим ее внешним образом на следующие рубрики: беллетристика; история; публицистика; история литературы, критика, сатира и полемика; автобиография и переписка.

II.

Первые прозаические попытки Пушкина остались незаконченными. Самая ранняя сохранилась в черновой тетради, начатой еще в лицее. Эта попытка написать рассказ, повидимому из жизни той светской золотой молодежи, среди которой очутился поэт по выходе из лицея, не пошла дальше первой страницы. Она начинается словами: „У гусара ** было дружское собрание"... и чрезвычайно напоминает своим тоном и отчасти даже содержанием начало написанной пятнадцать лет спустя „Пиковой дамы". В ней, вероятно, должны были фигурировать тогдашние друзья Пушкина, веселые собутыльники, собиравшиеся вокруг Зеленой Лампы, „красотки молодые, которых позднею порой уносят дрожки удалые по петербургской мостовой", игроки и тому подобные представители круга прожигателей жизни, к которому Пушкин всегда питал маленькую слабость. В этой среде встречались интересные и своеобразные характеры, но для бытовой повести Пушкин был тогда еще слишком молод. Нужно было сначала значительно отдалиться и от данной среды, и от эпохи, и самому больше развиться и приобрести больше опыта. Людей этого типа мы еще встретим в задуманном Пушкиным „Русском Пеламе".

За перо прозаика Пушкин взялся снова лишь через восемь лет (1827 г.). На этот раз его увлекла мысль

написать исторический роман. Еще в третьей главе „Онегина“ он обещал написать роман и при этом довольно определенно указал на его историческое содержание.

Быть может, волею небес
Я перестану быть поэтом,
В меня вселится новый бес,
И, Фебовы презрев угрозы,
Унижусь до смиренной прозы:
Тогда роман на старый лад
Займет веселый мой закат.
Не муки тайные злодейства
Я грозно в нем изображу,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства,
Любви пленительные сны
Да нравы нашей старины.
Перескажу простые речи
Отца иль дяди старика,
Детей условленные встречи
У старых лип, у ручейка;
Несчастной ревности мученья,
Разлуку, слезы примиренья;
Поссорю вновь, и наконец
Я поведу их под венец...

В собственном семействе поэт нашел предания, которыми всегда гордился и дорожил; их историческая, бытовая и романическая сторона очень занимала его, и он любил „толки слушать о родне, об отдаленной старине“ и признавался в своей „безвредной слабости“:

Могучих предков правнук бедный,
Люблю встречать их имена
В двух-трех строках Карамзина...

Свою автобиографию, от которой сохранилось лишь несколько страниц, он начал рассказом о своих предках—Пушкиных и Ганибалах. Особенно привлекал воображение поэта его прадед—арап царя Петра I,

крестник этого государя; Пушкина пленяла и оригинальная личность царского арапа, и своеобразие его судьбы, забросившей арапа из тропической Африки в далекую Россию. Пушкин любил называть Африку „своей", а себя—африканцем; происхождение от арапа оставило свои следы на наружности поэта. Семейные воспоминания об арапе Абраме Петровиче как-то лично связывали Пушкина с любимой им эпохой Петра, на изучение которой натолкнул его прежде всего интерес к оригинальному прадеду. Задумав исторический роман, поэт остановился на петровской эпохе и героем избрал арапа Ганибала. „Бог даст"—говорил он друзьям—„мы напишем исторический роман, на который и другие полюбуются" *). Исполнение этого обещания нужно видеть в „Капитанской дочке", а не в „Арапе Петра Великого", которого он вдруг оставил и больше к нему не возвращался. Пушкин написал только шесть глав и начало седьмой, а вещь была задумана, повидимому, крупная, так что мы имеем лишь начало повести, из которого даже трудно вывести более или менее цельную фабулу. Одному приятелю Пушкин говорил, что „главная завязка этого романа—неверность жены арапа, которая родила ему белого ребенка и за то была посажена в монастырь" **). По всей вероятности, к роману должна была относиться сложенная Пушкиным песенка ***), которую, может быть, поэт намеревался вложить в уста девушек-наперсниц боярышни, выдаваемой по царскому приказу за ненавистного арапа. В повести намечен был, повидимому, и разрушитель семейного спокойствия арапа, однако, не выведенный еще на сцену и лишь упоминаемый два-три раза. Не имея цельного, законченного произведения, мы должны довольствоваться частностями,

*) Анненков, „Материалы", 191.
**) Майков, „Пушкин", 177.
***) „Черный ворон выбирал белую лебедушку".

которые сами по себе великолепны. Мастерски изображены в повести французское общество эпохи Регентства и русское общество времен Петра, разделившееся на два лагеря—„новых людей“, сторонников преобразователя, и приверженцев отживающего быта, втайне копящих глубокое недовольство реформами. Великолепны картины петровского быта—обед у знатного боярина, ассамблея. Действует в повести и гениальный царь, которого Пушкин и после изображал не раз с тем же поклонением и тою же любовью. Белинский, вообще отнесшийся к пушкинской прозе довольно холодно и далеко не с тем проникновенным пониманием, которое обнаружил в разборе поэзии Пушкина, в своем знаменитом обзоре пушкинского творчества недаром жалел, что „Арап Петра Великого“ был заброшен автором. „Будь этот роман, — справедливо говорит великий критик,—кончен так же хорошо, как начат, мы имели бы превосходный исторический русский роман, изображающий нравы величайшей эпохи русской истории. Не понимаем, почему Пушкин не продолжал романа. Он имел время кончить его. Эти семь глав неоконченного романа, из которых одна *) упредила все исторические романы Загоскина и Лажечникова, неизмеримо выше и лучше всякого исторического русского романа, порознь взятого, и всех их вместе взятых“. Почти одновременно с „Арапом Петра Великого“ Пушкин набросал программу драмы или повести из почти той же эпохи, из времен правительницы Софьи, где, вероятно, на фоне великих исторических событий должна была разыгрываться история двух влюбленных **); программа так и осталась в области предположений и не была осуществлена.

*) IV-ая, помещенная в „Северн. Цветах“ на 1829 г.

**) „Русск. Старина“ 1884 г., апрель, 106; ноябрь, 337—338.—К мысли о повести из той же эпохи Пушкин возвращался и в средине 30-х годов; известен план такой работы („Пушкин и его современники“, IV, стр. 24).

Спустя три года Пушкин появляется в облике добродушного рассказчика, смиренного Белкина (1830 г.), кроткого помещика, берущего со своих крепостных большую часть оброка орехами и брусникой. Белкин, прототип лермонтовского Максима Максимыча,—тип доброго, неглупого обывателя, с бесхитростной, незлобивой душой. Но вместе с тем Белкин наивен и малообразован. Его-то глазами и хотел взглянуть Пушкин на жизнь. Не мудрствуя лукаво, Белкин записывает то, что слышал „от разных особ“. „Рассказам покойного Ивана Петровича Белкина“ предпослано вместо предисловия письмо к „издателю“ соседа покойного, отчасти такого же Белкина. „И моя деревня где-то упомянута“ (в рассказах),—пишет сосед:—„сие произошло не от злого какого-либо намерения, но единственно от недостатка воображения“, и в заключение просит издателя: „в случае, если заблагорассудите сделать из сего моего письма какое-либо употребление, всепокорнейше прошу никак имени моего не упоминать, ибо хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но в сие звание вступить полагаю излишним и в мои лета неприличным“. Приведя это письмо, „издатель“ выразил надежду, что публика оценит его „искренность и добродушие“. Это можно сказать и обо всех рассказах Белкина, смиренное лицо которого проглядывает сквозь незатейливую ткань повествования. (Впрочем, нужно заметить, что тон не всюду одинаково выдержан по отношению к Белкину). Ценность содержания всех пяти рассказов чрезвычайно неравномерна. Рядом с слабыми и маловероятными анекдотами „Барышня-крестьянка“ и „Метель“ мы встречаем потрясающий рассказ—„Станционный смотритель“; так же велика разница между „Выстрелом“ и „Гробовщиком“. Но неизменно все рассказы проникнуты тонким, добрым юмором и богаты превосходными частностями, изумительными картинами быта. Жизнь дуреющих от скуки офицеров в глухом местечке, где нет „ни одного

открытого дома, ни одной невесты"; бал у сапожника Готлиба Шульца, на который дочери гробовщика отправляются в самом парадном виде —желтых шляпках и красных башмаках, и для которого городовой Юрко покидает свою будку с белыми колонками дорического ордена; убогая комната забитого станционного смотрителя с похождениями блудного сына на стене; англомания чудака помещика, у которого никак „на чужой манер хлеб русский не родится", и который закладывает имение для поддержки английского сада; безмятежная, чистая жизнь „уездной барышни"; напускное „разочарование" жизнерадостного юноши, носящего на пальце черное кольцо с мертвой головою,— таких бытовых черт и картин в рассказах немало. На них лежит печать той простоты, которая дается только великому искусству, и всегдашнего, неизменного бодрого и светлого пушкинского мироотношения. Кроткая, тихая душа Белкина была избрана поэтом как лучшее вместилище этой доброты, простоты и правдивости.

Мнения критики о повестях чрезвычайно разноречивы. Белинский отнесся к ним очень несправедливо. Впервые он писал о них в 1835 г. *), находясь в поре „абстрактного героизма", под влиянием которого не мог оценить их художественную простоту. Он увидел в них слабо мерцающий закат пушкинского гения, его „бесплодную, грязную и туманную" осень. „Правда,— писал критик,—эти повести занимательны, их нельзя читать без удовольствия; это происходит от прелестного слога, от искусства рассказывать; но они — не художественные создания, а просто сказки и побасенки; их с удовольствием и даже с наслаждением прочтет семья, собравшаяся в скучный и длинный зимний вечер у камина; но от них не закипит кровь пылкого

*) „Молва" 1835 г., № 7; Сочинения Белинского, изд. С. А. Венгерова, II, 59—61.

юноши, не засверкают очи его огнем восторга, они не будут тревожить его сна: нет, после них можно задать лихую высыпку. Будь эти повести первое произведение какого-нибудь юноши, этот юноша обратил бы на себя внимание нашей публики; но как произведение Пушкина—осень, холодная, дождливая осень, после прекрасной, роскошной, благоуханной весны, словом, „прозаические бредни, фламандской школы пестрый вздор!“ Странное дело—очарование имен! Прочтите вы эту книгу, не зная, кем она написана,—и вы будете в полном удовольствии; но взгляните на заглавие,—и ваше живое удовольствие превратится в горькое неудовольствие“... Но еще более резкий образчик критической аберрации представляет собою позднейший отзыв Белинского о рассказах Белкина: „хотя и нельзя сказать, чтоб в них уже вовсе не было ничего хорошего, все-таки эти повести были недостойны ни таланта, ни имени Пушкина. Это что-то вроде повестей Карамзина, с той только разницей, что повести Карамзина имели для своего времени великое значение, а повести Белкина были ниже своего времени“. Этот отзыв тем страннее, что произнесен Белинским в том фазисе, когда великий критик умел так тонко понять значение нарождавшейся народнической литературы и гениально определил элементы натуральной школы. Насколько Белинский недооценил рассказов Белкина, настолько их значение переоценил другой великий критик, Аполлон Григорьев, который видит в Белкине воплощение русского национального духа, противовес чуждому, „хищному“, „тревожному“ началу,—„голос за простое и доброе, поднявшийся в душах наших против ложного и хищного“, „первое выражение критической стороны нашей души, очнувшейся от сна, в котором грезились ей различные миры“. Развивая свой оригинальный взгляд, критик совсем упустил из вида ограниченность и наивность Белкина, при которых далеко до полного выражения национальной сущности

в том понимании, какое придает ей Григорьев. Преувеличивая значение повестей, Григорьев находил в „Станционном смотрителе“ „зерно всей натуральной школы“. Это уже слишком,—но глубокий натурализм повестей Григорьев почувствовал верно. Не принадлежа, правда, к лучшим цветам пушкинского венка, рассказы Белкина—умная, светлая книга, будящая хорошие чувства. Поразительна простота приемов, с которыми изображен целый ряд картин, то печальных, то идиллических; на всем в них лежит мягкий колорит теплого, облачного, но ясного дня ранней осени; все рассказано легко и бесхитростно; в этом отношении особенно выделяется „Гробовщик“, где непринужденно-свободно смешаны реализм и фантастика.

Простой и необразованный Белкин так полюбился Пушкину, что поэт не устоял пред искушением попробовать взглянуть на историю очами Белкина, которого вообще тянет к литературе, и который так благоговеет перед ее служителями, что его потрясает случайная встреча с Булгариным. Белкин смело берется за историю и пишет „исследование“ о забытом Богом и людьми селе Горюхине, пишет по „источникам“, которые находит в завалявшихся на чердаке старинных календарях с отметками значительных событий, вроде: „4 мая снег, Гришка за грубость бит, 6-го бурая корова пала“, в летописи горюхинского дьячка, отличающейся „глубокомыслием и велеречием необыкновенным“, в „изустных преданиях“, которых особенно много сообщила историку одна старая баба, и в ревисских сказках, сохранивших „замечания прежних старост касательно нравственности и состояния крестьян“. На этом богатом материале строится по всем правилам искусства историческое исследование, начинающееся с яиц Леды — с того таинственного мрака неизвестности, которым покрыто возникновение Горюхина. Тон рассказа серьезен и торжественно-важен, слог соответственно высокопарен. Историк не простой

компилятор, не сухой архивный исследователь, но художник, мыслитель и моралист. Он очевидно подражает Карамзину. Все-же „История" вовсе не пародия ни на Карамзина, ни на Полевого и, судя по ее добродушному тону, не историческая сатира. Это просто — шутка, умная, добрая шутка, но в ней, как заметил Белинский, „есть и серьезные вещи". Если такие места, как: „одежда горюхинцев состояла из рубахи, надеваемой сверх порток, что есть отличительный признак их славянского происхождения", или выспреннее повествование о целомудрии горюхинских баб, которые „на покушение дерзновенного отвечают сурово и выразительно", просто смешны, то в рассказе о жестоком правлении приказчика, когда „базар запустел, песни Архипа Лысого умолкли", чувствуется ужас крепостничества. Отношение Белкина к повествованию не лишено иронии человека, сознающего свое превосходство над изображаемой средою, но Пушкин с ним не смешивает себя; поэт стоит немного в стороне и глядит и на историка, и на изучаемую им жизнь с благодушным юмором. Художественным методом Пушкина воспользовался Салтыков в „Истории одного города", но воспользовался как яркий сатирик, вложив в свой рассказ глубокую душевную боль.

Приблизительно около того же времени или несколько ранее Пушкин взялся за опыт эпистолярного романа, остановившийся в самом начале. В нем переписываются две приятельницы и два друга. Пушкин успел набросать довольно интересную фигуру одной из героинь, Лизы, девушки незаурядной, в которой виден выдающийся ум и характер. Эти черты, впрочем, не совсем пропали, и Пушкин воспользовался ими в начатом в 1831 г. и также неоконченном романе „Рославлев", поводом к которому послужил недавно вышедший роман Загоскина, носящий то же название. Загоскин, писавший в духе квасного патриотизма, жестоко казнит свою героиню, Полину, русскую девушку,

которая в черный год Отечественной войны полюбила пленного француза. Эта грубая фальшь очень не понравилась Пушкину. „В Рославлеве нет истины ни в одной мысли, ни в одном чувстве, ни в одном положении", писал Пушкину Вяземский. Поэт отвечал, что к оценке, данной роману Вяземским, „можно прибавить еще три строчки: что положения, хотя и натянутые, занимательны, что разговоры, хотя и ложные, живы, и что все можно прочесть с удовольствием", т.-е. отметил и фальшь Загоскина, и внешние достоинства его романа. В противовес Загоскину Пушкин начал своего „Рославлева", в котором прекрасно изобразил русское общество 12-го года и намеревался горячо вступиться за попираемое право человеческой души любить, когда любится. Роман должен был излагаться, что очень характерно, от лица женщины: „я буду защитницею тени", говорит она. Героиня романа, за которой оставлено имя Полины,—человек недюжинный; она умна, европейски образована, отличается скромным, не шумящим патриотизмом; она живет не одним только сердцем, но и умом, не довольствуется жалкой жизнью полузатворницы, привязанной к скудному очагу Весты, и мечтает о более широкой сфере для женщины. Юные, нерастраченные силы души кипят в ней: „я знаю, — говорит она, — какое влияние женщина может иметь на мнение общественное. Я не признаю уничижения, к которому принуждают нас", и, называя имена Шарлотты Кордэ, Марфы Посадницы, княгини Дашковой, с юношеской самоуверенностью восклицает: „чем я ниже их? Уж верно не смелостию души и решительностию". Полина—одна из первых пионерок русского женского движения, старшая сестра декабристок, мать тургеневской Елены. На сером фоне общества „обезьян просвещения" эта яркая личность выделяется резко и гордо. „Рославлев" впервые в русской литературе поднял речь о правах женщины и впервые показал женщину-гражданку.

Оставив „Рославлева“, Пушкин несколько раз принимался в начале 30-х годов за прозу, но ничего крупного не написал, и дело у него дальше начала задуманных произведений не пошло. Ему хотелось написать роман из жизни столичного большого света — мысль, которую он пытался осуществить и позднее, в „Пиковой даме“ и „Египетских ночах“. Один отрывок, начинающийся словами: „В одно из первых чисел апреля“..., обращает на себя внимание языком, удивительно чистым и народным, которым говорят две московские барыни, тем превосходным „языком просвирней“, к которому Пушкин советовал прислушиваться, в котором есть грубоватая резкость, но нет ни тени тривиальности *). Гораздо значительнее по содержанию начало другой задуманной повести: „Гости с'езжались на дачу“... В нем уже намечен интересный характер главного героя, Минского, в котором, как в Чарском „Египетских ночей“, можно узнать некоторые черты самого автора, и который высказывает любимые мысли Пушкина, неоднократно им повторявшиеся, о русском обществе и об аристократизме. Этих мыслей отчасти касается Пушкин в другом, тоже неотделанном наброске и тоже из светской жизни (может быть, обе попытки относятся к одному замыслу): „В Коломне, на углу маленькой площади“... Быть может потому, что в задуманную повесть из жизни света Пушкин влагал свои любимые взгляды на русское общество и боялся выйти из пределов романа, чтобы не впасть в тон публициста, — ни одна из этих попыток не была довершена, и поэт обратился к тому жанру, к которому его давно тянуло, — к историческому роману.

---

*) „Он советовал, — говорит Анненков („Материалы“, 100), — учиться русскому языку у старых московских барынь, которые никогда не заменяют энергических фраз: я была в девках, лечилась и т. п., жеманными фразами: я была в девицах, меня пользовал и проч.“.

Мысль написать повесть из германской жизни XVIII века, канвой для которой должна была служить потрясающая драма двух несчастных женщин, Марии Шонинг и Анны Гарлин, также была им оставлена, и он занялся русским XVIII веком. На этот раз ему удалось написать свое первое крупное прозаическое произведение—роман „Дубровский" (1832 г.).

Начатый в октябре 1832 г., „Дубровский" в февраль 1833 г. был уже закончен; судя по тому, что пометы отдельных глав (всех их девятнадцать) разнятся одна от другой на несколько дней, и по тому, что весь роман занял три с половиной месяца, он писался быстро и легко. Любовная интрига романа незамысловата и относительно слаба; героиня, которая обещает ждать любимого ею человека и, не дождавшись, венчается по родительскому приказу с нелюбимым, повторяет герою слова Татьяны Онегину: „князь—мой муж... теперь поздно". Герой, очерченный тоже довольно бледно, становится разбойником, потому что убеждается, что в развращенном обществе, где продажны суд и закон, честному гражданину нечего расчитывать на государственную защиту, а приходится опереться на собственную силу и храбрость, и об'являет обществу войну, которую ведет довольно странно и непоследовательно, вымещая свое горе на неповинных людях и оставляя в покое первого своего врага—виновника своего несчастья, в дочь которого влюбился Дубровский. Плохой борец за попранную справедливость и плохой любовник, упускающий любимую девушку и оставляющий без заслуженного наказания врага, Дубровский—фигура бесцветная, несмотря на то, что автор ставит его в очень выгодные для романического героя положения. Зато гораздо сильнее социальная и бытовая сторона романа. Неправосудие и самодурство российского феодала изображены верно и художественно. История создания „Дубровского" показывает, какой „взыскательный художник" был Пушкин. Желая

избегнуть ошибок в изложении судебного процесса, посредством которого богатый сосед оттягал у бедного имение, Пушкин пользовался советами одного московского дельца, ловкого юриста-практика; в его бумагах сохранилась заметка, относящаяся к ходу гражданского процесса *). Гениально написанные типические портреты людей XVIII века значительно превосходят достоинством самый роман как таковой. Троекуров, говорит В. О. Ключевский **), чутко определяя эти типы,—„постаревший петиметр в отставке, приехавший в деревню дурить на досуге... Троекуровы родились при Елизавете, процветали в столице, дурили по захолустьям при Екатерине II, но посеяны они еще при Аннах. Это—миниатюрные провинциальные пародии временщиков столицы, которых превосходно характеризовал гр. Н. Панин, назвав „припадочными людьми". „Как увидишь его,—говорил местный дьячок,—страх и ужас! А спина-то сама так и гнется, так и гнется"... Особенно удался Пушкину в „Дубровском" князь Верейский, достойный зять Троекурова. Это—настоящее создание екатерининской эпохи, цветок, выросший на почве закона о вольности дворянства и обрызганный каплями росы вольтерьянского просвещения. Князь Верейский — едва ли не самый ранний экземпляр новой разновидности нашего типа, которая развелась очень быстро. Подобными ему людьми до скуки переполняется высшее русское общество с конца царствования Екатерины. Заграницей они растрачивали богатый дедовский и отцовский запас нервов и звонкой наличности и возвращались в Россию лечиться и платить долги. Князь Верейский жил за морем и, приехав умирать в Россию, напрасно пытался оживить угасшие силы и затеями сель-

---

*) И. А. Шляпкин, „Из неизданных бумаг Пушкина", СПб., 1903, стр. 58.

**) „Венок на памятник Пушкину", сборник, СПб., 1880, стр. 276—277.

ской роскоши, и расцветшей на сельском приволье дочерью Троекурова... Отсюда „непрестанная" скука Верейского, которая с его легкой руки стала непременной особенностью дальнейших видов этого типа. Дубровский-отец—лицо любопытное по своей литературной судьбе. Это — любимое некомическое лицо нашей комедии XVIII в., ее Правдин, Стародум, или как там еще оно называлось. Но оно никогда не удавалось ей. Это потому, что екатерининская комедия хотела изобразить в нем человека старого петровского покроя, а при Екатерине II такой покрой уже выводился. Пушкин отметил его вскользь двумя-тремя чертами, и, однако, он вышел у него живее и правдивее, чем в комедии XVIII века. Дубровский-сын — другой полюс века и вместе его отрицание. В нем заметны уже черты мягкого, благородного, романически протестующего и горько обманутого судьбой александровца, члена Союза Благоденствия".

„Дубровский" как будто окрылил Пушкина, и за ним последовал самый крупный роман нашего поэта, венец пушкинской прозы — „Капитанская дочка" *), произведение, не имеющее на себе ни единого пятна, во всех отношениях выдержанное и безупречное. Об'езжая места, где шестьдесят лет назад развертывались грозные происшествия пугачевщины и собирая материалы для изучения этой эпохи, Пушкин с головою окунулся в нее. В изустных рассказах, в сухих архивных документах он нашел такие события и такие характеры, что не увлечься ими художнику

---

*) Написана вчерне в 1833 г., но отделывалась позднее, еще в 1836 г.—Прося летом 1833 г. позволения с'ездить в Оренбургскую и Казанскую губернии, Пушкин указывал, что хочет „дописать роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани" (Сочин. П., изд. „Просвещения", VIII, 291; „Дела III Отделения собственной Е. И. В. канцелярии об А. С. Пушкине", СПб., 1906, стр. 135).

было невозможно. Перед поэтом прошла целая галлерея русских людей XVIII века: и выдвинутый стихией бунта глава народного движения, и скромные, молчаливые герои долга, и малодушные люди, рабы успеха и игралища случая. Грозные картины русского бунта, „бессмысленного и беспощадного“, и роковое сцепление обстоятельств, волею которых беглый арестант потрясал государством и бил регулярные войска, не могли не поразить воображение Пушкина. Для исторического беллетриста, какого почувствовал в себе Пушкин еще во времена „Арапа Петра Великого“, не могло быть ни лучшей канвы, ни более богатых красок. В романе нет ни одной черты, которая не находила бы подтверждения в истории пугачевщины. Самая завязка действия (тулуп, которой дарит герой Пугачеву на постоялом дворе) могла быть навеяна Пушкину рассказом о казанском пасторе, которому самозванец подарил жизнь, благодарно помня про жалкие гроши, поданные ему пастором, когда он, голодный, оборванный колодник, просил милостыню на улицах Казани *). Главный герой повести Гринев, как метко указал Ключевский **), представляет собою одну из разновидностей Белкина. Это — дворянский „недоросль“ XVIII века, с которым наш поэт обошелся „беспристрастнее и правдивее Фонвизина. У последнего Митрофан сбивается на карикатуру, на комический анекдот. В исторической действительности недоросль—не карикатура, не анекдот, а самое простое и вседневное явление, к тому же не лишенное довольно почтенных качеств. Это—самый обыкновенный, нормальный русский дворянин средней руки. Высшее дворянство находило себе приют в гвардии, у которой была своя политическая история в XVIII веке, впрочем, более

*) Рассказ об этом сохранила „История Пугачевского бунта“.

**) Цитиров. сборник „Венок“, 277.

шумная, чем плодотворная. Скромнее была судьба наших Митрофанов. Они всегда учились понемногу, сквозь слезы при Петре I, со скукой при Екатерине II, не делали правительств, но решительно сделали нашу военную историю XVIII века. Это—пехотные армейские офицеры и в этом чине они протоптали славный путь от Кунерсдорфа до Рымника и до Нови. Они с русскими солдатами вынесли на своих плечах дорогие лавры Минихов, Румянцовых и Суворовых. Пушкин отметил два вида недоросля или, точнее, два момента его истории: один является в Петре Андреевиче Гриневе, невольном приятеле Пугачева, другой—в наивном беллетристе и летописце села Горюхина Иване Петровиче Белкине, уже человеке XIX века, „времен новейших Митрофане". К обоим Пушкин отнесся с сочувствием. Недаром и капитанская дочь М. И. Миронова предпочла добродушного армейца Гринева остроумному и знакомому с французской литературой гвардейцу Швабрину".

От лица этого героя ведется рассказ, написанный Гриневым с целью показать, как прав завет: „береги честь смолоду"; рассказ кое-где прерывается наставительными замечаниями Гринева. Ничтожное, небрежное воспитание, которое получил Гринев, спасло природную благородную прямоту и цельность его натуры. Это—человек долга и чести. И он сумел бы, подобно своим несчастным начальникам, крикнуть в лицо Пугачеву: „ты вор и самозванец" и бесстрашно умереть на виселице; но любовь к осиротелой капитанской дочке, которая может погибнуть в стане злодеев, стать наложницей отвергнутого ею жениха, вынуждает его на некоторый компромисс с чувством долга. Обязанный личной искренней благодарностью самозванцу, он тяжко страдает от происходящей в его душе борьбы между чувствами любви и благодарности и служебного долга. Как и Белкин, он очень любит чтение и очень не прочь от авторства; он кропает стишки, которые

были бы под стать если не Нелединскому-Мелецкому, то во всяком случае Николеву. Его верный личарда—Савельич, любящий и преданный дядька,—одно из лучших лиц старого русского мира; он принадлежит к лучшим сынам народа, сумевшего сохранить нетленные сокровища ума и души в удушливом мраке крепостного права. Савельич вполне по-народному смышлен и простодушно-хитер. Заметив явное расположение самозванца к своему барину, он смело представляет ему счет разграбленному пугачевцами барскому добру, надеясь сорвать с Пугачева в пользу своего питомца хоть малую толику. Такое же дитя провинциального, глухого приволья, умное без ученья, благородное без правильного воспитания, как и Гринев,—сама героиня, капитанская дочка. Чистая, религиозная, воспитанная в патриархальных понятиях о святости и могуществе прав семьи, она с болью душевной прямо и наотрез отказывается стать женою любимого человека против воли его родителей; но, приобретя их уважение и любовь, она может действовать энергично и смело: одна, без денег и знакомств, отправляется добиваться правды, и на ее долю выпадает заслуженное счастье—услышать реабилитацию своего жениха, осужденного за измену, из уст самой царицы. В ряду женских исторических типов она стоит рядом со своей дочерью по духу—женою декабриста, идущею за ссыльным мужем в Сибирь. Крепкий нравственный закал капитанская дочка получила в родной семье; она—достойная дочь скромного героя, одного из тех славных людей, в душе которых был крепок нравственный идеал, и которым умирать было легче, чем отступиться от него.

Пушкину, великому „положительному“ художнику, легко далось то, что не дается художникам „отрицательным“ (вроде Гоголя): без приторной подмалевки, без малейшей прикрасы показал он целую галлерею хороших людей, не снабжая их ангельскими крыльями, нигде не греша против жизненной правды, ни в одной

черточке не фальшивя. Великий, солнечно-щедрый гений Пушкина инстинктивно, ощупью стремился чуять всюду добро и умел найти в душе Пугачева, рядом с самой дикой, узкой жестокостью, способность помнить и делать добро. Нигде прямо этого не высказывая, поэт чувствовал ласковым, вселюбящим сердцем, что человек без малейшей искорки добра в сердце—отвлеченная фикция, которой нет в реальном мире. Замечательно, что отрицательный герой—Швабрин—менее удался Пушкину, и его мрачный характер не лишен некоторого мелодраматизма; обрисован он не так полно и ясно, как другие лица. Белинский, вообще отнесшийся холодно к „Капитанской дочке", выделил ее из ряда других прозаических произведений Пушкина—как „нечто вроде „Онегина" в прозе... Многие картины по верности, истине содержания и мастерству изложения—чудо совершенства". „Капитанская дочка" всеми читается охотнее других произведений Пушкина; его нельзя, конечно, назвать писателем одной вещи, как, например, из всего наследия Крылова и Грибоедова можно читателю выбрать басни и „Горе от ума", без особой потери отбрасывая все остальное, но все-же лучшими и характернейшими художественными произведениями Пушкина надо признать „Онегина" в стихах и „Капитанскую дочку" в прозе. Роман проникнут высоким идеалистическим настроением, а реализм его таков, что мы, по выражению одного критика *), „почти без усилия фантазии начинаем себя чувствовать людьми иного века, потому что видим перед собой живых людей и живую обстановку, в которой соблюдены все условия реальной действительности". Великий ценитель прозы и сам великий прозаик, Толстой считал „Капитанскую дочку" верхом пушкинского творчества **).

*) Н. А. Котляревский, „Гоголь", СПб., 1903, стр. 202—203.

**) Андреевич, „Л. Н. Толстой", СПб., 1905, стр. 80.

Широко задуманный роман из светской жизни не удавался Пушкину. Появившаяся вслед за „Капитанской дочкой“ „Пиковая дама“ (1834 г.), по замечанию Белинского, посвятившего ей лишь несколько строк, „мастерской рассказ. В ней удивительно верно очерчены старая графиня, ее воспитанница, их отношения и сильный, но демонически-эгоистический характер Германа... Рассказ, повторяем, верх мастерства“. Фабула не лишена фантастического, сверх'естественного элемента, который превосходно мирится с общим реализмом рассказа. Воспользовавшись оригинальным, анекдотически-причудливым сюжетом, Пушкин дал несколько интересных лиц. Лучше всего удалась ему старая графиня, выделяющаяся каким-то странным анахронизмом среди людей 20—30-х годов, фигура XVIII века, „статс-дама былого двора“. Пушкин некоторые черты этого типа нашел в старой княгине Н. П. Голицыной, рожд. графине Чернышевой, прозванной Princesse Moustache и бывшей ходячей „совестью“ николаевского двора, живым кодексом светских приличий и этикета, а также в другой великосветской старухе—Н. К. Загряжской, тоже любопытном обломке XVIII века. В исторически-бытовом отношении это самое замечательное лицо в рассказе. Интересен и отчетлив мрачный характер Германа, решительного до отчаянности человека, у которого „профиль Наполеона, а душа Мефистофеля“ и, кажется, „по крайней мере три злодейства на совести“. Воспитанница графини Лиза как романическая героиня бледна, но зато в ней Пушкин навеки закрепил вымерший тип „воспитанницы“, жертвы причуд и капризов знатной старухи, жертвы, быть может, более несчастной, чем последний крепостной слуга,—тип, которого Пушкин слегка коснулся несколько лет назад, в начале задуманного эпистолярного романа. Хороши и другие эпизодические герои рассказа—светские молодые люди, великолепно-холодный, строго-величавый глава игорного дома. Ни одна из повестей Пушкина

при своем появлении не имела такого шумного успех, как „Пиковая дама“. Она, рассказывает Анненков *), „произвела всеобщий говор и перечитывалась, от пышных чертогов до скромных жилищ, с одинаковым наслаждением. Общий успех этого легкого и фантастического рассказа особенно об'ясняется тем, что в повести Пушкина есть черты современных нравов, которые обозначены, по его обыкновению, чрезвычайно тонко и ясно“. М. О. Гершензон **) причисляет ее к „замечательнейшим русским повестям... Нельзя достаточно надивиться на эту сжатость, стремительность, сосредоточенность рассказа, на эту ясность линий и целомудрие слога... Ни одной лишней черты, но всякая черта, как радиус, стремится к центру повествования; ни одного психологического описания, но все действие насыщено психологией; беспредельное напряжение сил, почти математическая художественная расчетливость— и ни малейшей нарочитости, но все течет естественно, как в самой жизни“.

С современным поэту светским обществом мы встречаемся и в следующей повести Пушкина—„Египетские ночи“, оставшейся незаконченной. Еще в 1824—1825 гг. Пушкин набросал стихотворение на тему о Клеопатре. продававшей свои ночи любовникам ценою их жизни; эту тему он нашел у римского писателя Аврелия-Виктора. Его пленяло и жестокое сладострастие красавицы-царицы, и цельность и сила натур, отдававших жизнь за один момент счастья; в то же время его искусила мысль сопоставить с этими образами античного сумрака фигуры современного большого света, людей изломанных, неискренних, не умеющих ни горячо ненавидеть, ни страстно любить. Он было попробовал написать рассказ из времен Нерона; одним из его героев был Петроний, знаменитый автор „Сатирикона“,

---

*) „Материалы“, 387.

**) В IV т. Сочин. Пушкина, изд. Венгерова.

которого Пушкин считал современником Нерона; в этой раме должно было разыгрываться действие ночей Клеопатры. Эту мысль он, однако, оставил в самом начале, сделав несколько маленьких набросков, и от нероновской эпохи перешел к современному русскому обществу. Насколько можно понять из отдельных глав в связи с подготовительными набросками, с романом великосветской дамы г-жи Лидиной должны были быть сопоставлены, или даже противопоставлены ему, полные кровавого сладострастия ночи египетской царицы. Любая из брошенных Пушкиным работ заставляет жалеть, что поэт не закончил начатого, но ни одно произведение не пробуждает этого сожаления так сильно, как „Египетские ночи". Это в полном смысле слова, без преувеличений — великое произведение. О той части, в которой изображен древне-римский мир, Белинский писал: „прочтите „Египетские ночи", — вы будете перенесены в самое сердце жизни издыхающего древнего мира... Это воскресший, подобно Помпее и Геркулануму, древний мир на закате его жизни". В других, „русских", набросках прекрасно изображен большой свет с его львами, львицами, педантами вроде Вершнева, московского гегельянца. В отделанной части повести два героя—светский петербуржец Чарский и бедный импровизатор-итальянец. Они — братья по духу: оба—поэты в душе, и хотя один соединяет любовь к прекрасному с довольно неприятным дендизмом, а другой — с не менее противным ремесленничеством раз'езжающего фигляра, но зато Чарский умеет „погружаться душою в сладостное забвение", когда пишет стихи, а итальянец—бледнеть, чуя „приближение бога", бога стихов. Чарскому Пушкин придал много собственных черт—и, быть может, потому-то и не закончил страстной повести о нем, т.-е. в сущности в значительной степени о себе самом. Поэт не успел еще отделаться от слишком личного участия в своем произведении (в последний раз он принялся за эту

повесть в 1835 г.), обратился в другую сторону, и „Египетские ночи" уже не были окончены. Между тем редкое произведение так захватывало его, как „Египетские ночи", судя по ряду приступов. „Всякий, кто внимательно рассматривал это небольшое произведение,—говорит Анненков *), — вероятно заметил, что все краски и все его очертания необычайно глубоко продуманы, строжайше взвешены и оценены предварительно и потом уже воспроизведены в минуту вдохновения, сообщившую всем им свежесть, блеск первого впечатления". Пушкин оставил в „Египетских ночах" несколько замечаний о своем творческом процессе — драгоценный материал для изучения физиологии и психологии творчества—и о своих отношениях к обществу и журналистам; в отзывах о последних много досады и негодования.

Так же была оставлена Пушкиным едва начатая попытка написать (около 1835 г.) историко-бытовой роман из жизни русского общества двадцатых годов—„Русский Пелам". Известны его начало, прекрасный образец прозы, и пять отрывочных программ. У английского романиста Бульвера, автора романа „Pelham", давшего широкую картину английского общества, среди которого развертывается личная история героя (его именем назван роман), Пушкин заимствовал внешний прием и хотел дать такую же картину русской жизни, среди которой должен был действовать русский герой. В программах, довольно неясных, множество имен интересных исторических лиц—братья Феодор и Алексей Орловы, Всеволожский, гр. В. П. Кочубей, гр. Завадовский, драматург кн. Шаховской и актриса Ежова, Грибоедов, макаронический поэт Неелов, И. И. Козлов, Котляревский, Мордвинов, танцовщицы Истомина и Овошникова; фигурирует и „общество умных"—будущих декабристов. Судя по этому разнообразию, Пуш-

*) „Материалы", 387.

кин хотел дать полное изображение русской жизни в двадцатых годах, и роман должен был выйти немаленький. Так же были едва начаты и остались в черновых бумагах „Сцены из рыцарских времен“ и кое-какие драматические замыслы. В „Сценах“ Пушкин так же легко и свободно проник в западно-европейское средневековье, как в „Египетских ночах“ понял древний мир; в них он коснулся борьбы феодализма с нарождающимся средним классом и рисовал рыцарство; знаменитая баллада о рыцаре, влюбленном в Деву, которую поет герой, проникнута средневековым мистицизмом. В этом произведении видна глубина и точность исторических изучений, которыми занимался поэт, но „книгой“ и не пахнет от поэтического претворения добытых материальных знаний в идеальную правду искусства.

К области исторической беллетристики следует отнести также небольшой рассказ „Кирджали“ (1834 г.) и едва начатые записки П. В. Нащокина (1830 г.). „Кирджали“ — история бессарабского разбойника, рассказанная со всей простотой великого мастерства и с тонким юмором. Записки Нащокина представляют собою переработанные поэтом семейные воспоминания его московского друга, умного, но ленивого человека, которого Пушкин никак не мог усадить за писание записок. „Что твои мемории?—писал ему однажды Пушкин.—Надеюсь, что ты их не бросишь. Пиши их в виде писем ко мне. Это будет и мне приятнее, да и тебе легче. Незаметным образом вырастет том, а там, глядишь, и другой“. Но у ленивого Нащокина дело дальше не пошло. Прочитав появившийся в печати отрывок, Белинский писал *): „вы бы с наслаждением прочли или, вернее сказать, проглотили бы и роман в десяти частях, написанный так, а между тем должны

*) Сочинения Белинского, изд. Венгерова, IV, 72.

довольствоваться двумя страничками". Нащокин по темпераменту не был писатель, и Пушкину так и не удалось заставить его взяться за перо; ему принадлежит только содержание воспоминаний, а на выполнении лежит печать пушкинского гения.

Великий не только в законченных своих трудах, великий и в широте задуманных планов, набросанных программ, Пушкин унес в могилу ряд разнообразных и богатых творческих замыслов, многие из которых принадлежат к роду беллетристики. Последних было гораздо больше, чем стихотворных. Еще немного,—и гениальный прозаик поравнялся бы с гениальным поэтом. После „Капитанской дочки" и „Египетских ночей" Пушкину оставалось сделать один шаг к этому пределу.

III.

Талант исторического беллетриста соединялся в Пушкине с несомненным призванием и дарованием историка-ученого, которому, однако, не было дано развернуться широко и полно. Его любовь к прошлому родины питалась еще в лицее царскосельскими памятниками Екатерининской эпохи, „славой мраморной и медными хвалами Екатерининых орлов“, и воспоминаниями многих живых свидетелей феерического века. В 1812 году мальчик-лицеист пережил вместе со всем русским обществом под‘ем патриотического энтузиазма и с радостью сознавал себя одним из свидетелей этого славного времени. Выйдя из лицея и став в ряды тогдашней передовой молодежи, Пушкин не мог не разделять ее интереса к истории. Не успели сойтись два представителя этой молодежи, Онегин и Ленский, как уже „меж ними все рождало споры и к размышлению влекло: племен минувших договоры...“ Особенно сильный толчек этому увлечению историей дало появление карамзинской „Истории Государства Российского“, о котором Пушкин вспоминал впоследствии: „это было в феврале 1818 года. Первые восемь томов Русской Истории Карамзина вышли в свет. Я прочел их с жадностию и со вниманием. Появление сей книги наделало

много шуму и произвело сильное впечатление... Все даже светские женщины, бросились читать историю своего общества, дотоле им неизвестную. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили. Когда, по моем выздоровлении, я снова явился в свет, толки были во всей силе". И Пушкин отмечает глупость и ничтожность этих светских разговоров. Высланный на юг, Пушкин очутился по близости к кипящему котлу, которым был тогда весь Балканский полуостров—вплоть до самой Бессарабии. Пушкин знавал лично многих деятелей греческого восстания. Внимательно следя за ходом греческого движения, он завел было французский „журнал", от которого до нас дошли лишь клочки. Название „журнал", или дневник, дал этим клочкам П. В. Анненков не совсем правильно; это в полном смысле слова исторические записки. На первых порах Пушкин горячо сочувствовал грекам (он записывает однажды в своем дневнике: „говорили об А. Ипсиланти, между пятью греками я один говорил как грек, все отчаивались в успехе предприятия этерии"); пыл этот охладел через два года, когда для Пушкина наступила полоса скептицизма. В числе кишиневских приятелей Пушкина был известный майор В. Ф. Раевский, „первый декабрист", как его назвал его биограф *). Член тайного общества, деятельный помощник тоже прикосновенного к обществу умного М. Ф. Орлова, Раевский, по словам другого кишиневского знакомца Пушкина, впоследствии, в сороковых годах, получившего печальную известность, И. П. Липранди **), „очень много способствовал к подстреканию Пушкина заняться положительнее историей... Я

---

*) П. Е. Щеголев, „Первый декабрист Владимир Раевский", изд. 2-ое, СПб., 1906.

**) „Русск. Архив" 1866 г., ст. 1255—1256.

тем более убеждаюсь в этом—говорит Липранди,—что Пушкин неоднократно после таких споров, на другой или на третий день, брал у меня книги, касавшиеся до предмета, о котором шла речь". Липранди сам занимался историей, тогда он собирал материалы для истории Бессарабии. Исторические и особенно политические темы чрезвычайно занимали весь кружок М. Ф. Орлова, где Пушкин был своим человеком; как с Раевским, так и с Орловым поэт часто спорил. В конце 1821 г. его „коньком", писала жена Орлова, был „вечный мир аббата Сен-Пьера" *).

Занятия историей, таким образом не только пленяли его воображение прелестью широких картин, своеобразием крупных характеров отдельных исторических личностей, но диктовали моральные и социологические выводы. Самым интересным и ценным плодом этих занятий и размышлений является статья (1821—2 г.) о русской истории XVIII века. В самодержавии этой эпохи Пушкин видел могучую и благодетельную силу, ставшую поперек дороги рабовладельческой аристократии, спасшую Россию от феодализма и подготовившую мирное освобождение крестьян, с которым „нынче политическая свобода наша неразлучна". Впервые Пушкин высказывает здесь свое благоговейное уважение к Петру Великому, фигуру которого представляет в ореоле того демонического величия, которое так ярко изобразил он впоследствии в „Медном Всаднике": „Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, больше, чем Наполеон". В противовес консерваторам александровского царствования, указывавшим на правление Екатерины II как на идеал государственной

---

*) М. Гершензон, „История Молодой России", М., 1908, стр. 27—28.

мудрости, Пушкин развенчивает Екатерину, даже с излишней страстностью, за „важные ошибки ее в политической экономии“, за ее беспримерную слабость к фаворитам, даже за секуляризацию земель духовенства, чем она „нанесла сильный удар просвещению народному“, за „фарсу наших депутатов, столь непристойно разыгранную“, и за „бесплодные“ победы в северной Турции. Национальное чувство сильно сказывается в этих замечаниях: „греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер“. Если „Тартюф в юбке и в короне“ заслуживает народной благодарности, то это за „униженную Швецию и уничтоженную Польшу“. Последнее мнение не должно нас изумлять. „Домашний спор“ России и Польши, о котором Пушкин никогда не мог спокойно говорить, и до сих пор „взвешен судьбою“ далеко не окончательно, а для людей двадцатых годов это был свежий и жгучий спор, туманивший такие головы, как М. Ф. Орлов, который писал горячую записку Александру I против эмансипации Польши *), или В. Ф. Раевский, для которого „восстановление“ Польши было одним из возбудителей оппозиционного настроения **). Как в них, так и в Пушкине эта исключительность уживалась с общей широтой и гуманностью исторических воззрений, продиктовавшей поэту вывод, быть может слишком спокойный и бодрый: „желание лучшего соединяет все состояния против общего зла, и твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас на-ряду с просвещенными народами Европы“.

Дальнейшие исторические занятия Пушкина сводились к изучению тех документальных материалов, которые были нужны ему для его работ по русской исто-

---

*) Гершензон, 4.
**) Щеголев, 45.

рии. Без усердного, внимательного чтения исторических трудов и памятников было бы невозможно даже пушкинскому гению так глубоко проникнуть в дух и быт минувших эпох, как мы видим это в „Борисе Годунове“, „Арапе Петра Великого“, „Полтаве“, „Истории села Горюхина“ и проч. И. Н. Жданов *) рассеял прежний взгляд, распространению которого больше всего способствовал отчасти сам же Пушкин, что в „Годунове“ поэт „рабски“ следовал Карамзину, и установил, что „в изображении судьбы царя Бориса Пушкин шел своей дорогой—дорогой, на которой Карамзин не был и не мог быть путеводителем“; поэт работал по источникам, проверяя и дополняя Карамзина.

Как блестяще усвоил Пушкин язык и стиль летописей и вообще старой письменности, можно судить по полному исторического юмора началу „Родословной моего героя“, о происхождении которого поэт рассказывает:

Одульф, его начальник рода,
Вельми бе грозен воевода
(Гласит софийский хронограф).
При Ольге сын его Варлаф
Приял крещенье в Цареграде
С приданым греческой княжны.
От них два сына рождены,
Якуб и Дорофей. В засаде
Убит Якуб, а Дорофей
Родил двенадцать сыновей.
Ондрей, по прозвищу Езерский,
Родил Ивана да Илью
И в лавре схимился Печерской.

Один из предков героя попал в плен к татарам и был „раздавлен, как комар, задами тяжкими татар“. Другие

*) О драме А. С. Пушкина „Борис Годунов“, СПб., 1892.

и в войске, и в совете,
На воеводстве и в ответе
Служили доблестно царям.
Из них Езерский Варлаам
Гордыней славился боярской;
За спор то с тем он, то с другим
С большим бесчестьем выводим
Бывал из-за трапезы царской,
Но снова шел под тяжкий гнев
И умер, Сицких пересев...

Без основательного изучения древней и западной истории не были бы возможны такие произведения, как „Скупой рыцарь", „Сцены из рыцарских времен", „Египетские ночи" и друг.: гению нужен был материал, и Пушкин жадно поглощал его; его библиотека, сохранившаяся, хотя далеко не целиком, до наших дней, довольно богата книгами по истории. Интересы его в этой области были очень разнообразны.

Так, одно время его занимает Тацит, и он пишет свои замечания на анналы римского историка. В этих замечаниях Анненков *) видит пример „добросовестных усилий Пушкина попробовать себя на строго-исторической почве и усвоить себе приемы исторической критики". Плетнев писал о них Пушкину: „я бы очень желал, чтобы ты несколько замечаний своих на Тацита пустил в ход с цитатами. Это у многих повернуло бы умы". Не только Тацит, но и Тит-Ливий, Светоний, Авл-Геллий, Аврелий-Виктор были для Пушкина близкими именами. Вскоре Пушкин заинтересовывается историей Малороссии; сохранилась относящаяся к этим изучениям программа. Записки и воспоминания исторических лиц Пушкин читал жадно—Талейрана, Наполеона, Байрона, и однажды даже „отдал бы всего Шекспира" за записки Фуше. Еще в Одессе добыл он копию записок Екатерины II; потом читал записки кн.

*) „Пушкин в Александровскую эпоху", СПб., 1874, стр. 300.

Дашковой, Храповицкого и поощрял писать свои воспоминания таких разнородных людей, как И. И. Дмитриев, П. В. Нащокин, актер М. С. Щепкин, А. О. Смирнова, Н. А. Дурова; записывал анекдоты и „россказни за столом“ („Table Talk“), которые слышал от живых представителей русской старины, вроде Н. К. Загряжской, князя А. Н. Голицына, Дмитриева. Бытовая история занимала его наравне с политической. Тонким историческим чутьем, помогшим ему найти в уже кристаллизовавшихся формах прошлого образы героев „Дубровского“ и „Капитанской дочки“, поэт умел определить исторически-значительное и типическое в современной, окружавшей его жизни, что бесконечно труднее. Для него не проходила без следа даже случайная встреча с каким-нибудь интересным образчиком русского „чудака“, вроде В. А. Дурова, о котором он оставил небольшую заметку. Да и все его герои — не только достояние художественной литературы, но и исторические типы, по которым можно изучать русскую жизнь.

Особенно сильный толчок к занятиям историей в пору полной зрелости его таланта дало ему появление первых двух томов „Истории русского народа“ Н. А. Полевого. Отчасти под влиянием князя П. А. Вяземского, раз навсегда решившего, что после Карамзина никто да не дерзает заниматься русской историей *), Пушкин обрушился на Полевого, напечатав разбор его

*) В 1836 г. Вяземский не остановился, ради славы Карамзина, даже перед доносом С. С. Уварову на... Н. Г. Устрялова. Должно заметить, что Пушкин одобрил донос (в одной записке к Вяземскому) и даже снабдил его несколькими замечаниями, одно из которых направлено против Полевого (Соч. Вяземского, II, 211—226; А. Н. Пыпин, „Характеристики литературных мнений“, стр. 76, и „История русской литературы“, изд. 3-е, IV, 376, 439; М. Ольминский, „Свобода печати“, СПб., 1906, стр. 37; М. Гершензон, „Чаадаев“, СПб., 1908, стр. 143).

труда в „Литературной Газете“ 1830 г. Увлекшись полемикой, Пушкин был несправедлив к Полевому. „Как заглавие его книги,—писал Пушкин,—есть не что иное, как пустая пародия заглавия „Истории Государства Российского“, так и рассказ г-на Полевого слишком часто не что иное, как пародия рассказа историографа... Желание отличиться от Карамзина слишком явно в г-не Полевом... Желание противоречить Карамзину...“ По существу же Пушкин почти не коснулся книги Полевого. Чувствуя это, он хотел продолжать свой разбор и полгода спустя набросал программу третьей статьи, оставшейся неосуществленной. Во второй статье он вскользь наметил ее тему, говоря: „в уделах г-н Полевой видит то образ восточного самодержавия, то феодальную систему, общую тогда в Европе“. Полевой в общем признавал существование в старой России феодализма, и в своей неоконченной статье Пушкин пытался возразить ему, на этот раз уже говоря спокойнее и признавая, что труд Полевого „заслуживает внимания по многим остроумным замечаниям, по своей живости, хоть и неправильной, по взглядам и воззрениям, недальным и часто неверным, но вообще новым и достойным критических исследований“. Возражения Пушкина довольно слабы и устремлены к оправданию вывода, „что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою, что история ее требует другой мысли, другой формулы“... Современная историческая наука склонна решать совсем иначе этот вопрос *). Пушкин совершенно не заметил едва не самой главной стороны труда Полевого,—не заметил, что им впервые выдвинут на сцену „народ“, народ-деятель, создавший великую страну, а не народ-масса, косная и инертная, каким он является у Карамзина. В идейно-научном

*) Теорию внутреннего тождества русского удельного строя с западным феодализмом поддерживал Н. П. Павлов-Сильванский.

смысле труд Полевого стоит гораздо выше „Истории Государства Российского“, и очень печально, что, скованный карамзинской теорией и наивными традициями карамзинского кружка, Пушкин этого не заметил. Ошибка Пушкина лучше всего характеризуется словами (далеко не сочувствующего Полевому) Аполлона Григорьева: „противники Полевого были неправы в том, что не видели необходимости отрицания карамзинских форм понимания быта и истории народа, стояли за эти формы как за какую-то неприкосновенную святыню, когда явным образом сознание этими формами уже не удовлетворялось, когда эпоха явно искала чего-то иного, искала тревожно, и встречала сочувствием отрицательные стремления. Они сами, как тогда, так и впоследствии—ревностные поборники народности, не могли и не хотели понять, что протест законный заявлял себя в самом названии своей истории Полевым „историею русского народа“. Они, даже несколько недобросовестно, увлеченные враждою к Полевому и пристрастием к старому идолу, видели даже и в этом названии один расчет, одну спекуляторскую проделку, тогда как оно несомненно родилось под влиянием духа протеста“... В своих статьях о Полевом Пушкин не был и не мог быть об'ективным критиком; он принес эту дань увлечения своим общественным воззрениям.

Особенно интересовали Пушкина социальные движения русского народа. Еще в Михайловском он записывал песни о Стеньке Разине; потом изучал стрелецкий бунт, который хотел взять как фон романа из старой русской жизни; наконец, отложив на время задуманную историю Петра Великого, материалы для которой собирал и изучал, хотя урывками, несколько лет, остановился на Пугачеве. Не довольствуясь всевозможными печатными источниками, архивными документами и даже рассказами некоторых свидетелей и участников событий, Пушкин посетил места, где разыгрывалась кровавая драма пугачевщины, и результатом

этой работы явилась, рядом с „Капитанской дочкой“, „История Пугачева“ (1834 г.), которую император Николай Павлович переименовал в „Историю Пугачевского бунта“, наставительно заметив, что у преступника не может быть истории. Если Пушкин не позволил себе особенно углубиться в причины, породившие пугачевщину, то этому виною тяжелые условия цензуры, с которыми ему приходилось считаться *). В Пугачеве он видел больше орудие, чем деятеля. „История Пугачевского бунта“ отличается стройностью, простотой и все-таки, несмотря на преднамеренную сухость и строгость рассказа, местами поэтическою трогательностью изображения. Не стремясь к многословию, осторожно ограничивая размеры своей работы, Пушкин внес в особый отдел примечаний даже многое такое, что могло бы войти в общее течение рассказа. Зато в примечаниях он дал себе больше свободы. В одном из них он указывает любопытную черту народности в Пугачеве и его сообщниках: „первое возмутительное воззвание Пугачева к яицким казакам есть удивительный образец народного красноречия, хотя и безграмотного; оно тем более подействовало, что об‘явления или публикации Рейнсдорпа были писаны столь же

*) „Уваров... кричит о моей книге как о возмутительном сочинении“, писал Пушкин в своем дневнике. Пушкину было поставлено на вид его отношение к личности Пугачева; разбирая „Историю Пугачевского бунта“, один критик поучительно замечал: „Емелька Пугачев бесспорно принадлежал к редким явлениям, к извергам, вне законов природы рожденным, ибо в естестве его не было и малейшей искры добра... История сего злодея может изумить порочного и вселить отвращение даже в самих разбойниках и убийцах. Она вместе с тем доказывает, как низко может падать человек, и какою адскою злобою может быть преисполнено его сердце“... Таким образом, Пушкину, отнюдь не ужаснувшемуся глубины „нравственного падения“ Пугачева, был сделан косвенный упрек в безнравственности.

вяло, как и правильно, длинными обиняками с глаголами на конце периодов“. Как участвовал Пушкин в судьбе героев пугачевщины своим благородным сердцем, видно из примечания к рассказу о гибели коменданта одной из оренбургских крепостей Харлова: „бедный Харлов накануне взятия крепости был пьян, но я не решился того сказать из уважения его храбрости и прекрасной смерти“. Упомянув о казни одного из сообщников Пугачева—Падурова, бывшего депутатом в екатерининской комиссии, Пушкин говорит в примечании: „Падуров, как депутат, в силу привилегий, данных указом, не мог ни в каком случае быть казненным смертию. Не знаю, прибегнул ли он во время суда к защите сего закона; может быть, он его не знал; может быть, судьи о том не подумали; тем не менее казнь сего злодея противу закона. Вот один из тысячи примеров, доказывающих необходимость адвокатов“. Отзыв, данный об „Истории“ современным критиком бароном Е. Ф. Розеном *), так справедлив, что мы можем всецело присоединиться к нему; Розен отметил „мудрую экономию и изящное устройство материала, точное, истинно-художественное разделение света и тени и, наконец, неподражаемую сжатость слога“. Белинский, хотя вскользь, несколько раз говорил об „Истории Пугачевского бунта“, что она „пером Тацита писана на меди и мраморе“... „Этот исторический опыт—образцовое произведение и со стороны исторической, и со стороны слога. В последнем отношении Пушкин вполне достиг того, к чему Карамзин только стремился. „История Пугачевского бунта“ показывает, что если бы он успел написать историю Петра Великого, мы имели бы великое историческое создание“.

„История Пугачевского бунта“ была для него только пробным камнем его исторического таланта... Широкое поприще для своего призвания историка Пушкин ви-

---

*) „Северная Пчела“ 1835 г., № 38.

дел в истории Петра Великого, всегдашнего и любимого героя воображения поэта. Еще в 1827 г. он говорил одному приятелю: „я непременно напишу историю Петра“ *). В 1831 г. он начал собирать материалы для этой работы, и ему были открыты казенные архивы. Собирание документов Петровской эпохи было прервано увлекшей Пушкина „Историей Пугачевского бунта“, но, справившись с нею, он снова взялся за Петра. Трудности этой работы он прекрасно сознавал, и они даже пугали его. В. И. Далю он говорил в 1833 г.: „я стою перед изваянием исполинским, которого не могу обнять глазом,—могу ли я описывать его? Что я вижу? Оно только застит мне исполинским ростом своим, я вижу ясно только те две-три пядени, которые у меня под глазами“... **). „Я еще не мог доселе постичь и обнять вдруг умом этого исполина: он слишком огромен для нас, близоруких, и мы стоим еще к нему близко—надо отодвинуться на два века,—но постигаю его чувством; чем более его изучаю, тем более изумление и подобострастие лишают меня средств мыслить и судить свободно. Не надобно торопиться; надобно освоиться с предметом и постоянно им заниматься; время это исправит. Но я сделаю из этого золота что-нибудь. О, вы увидите: я еще много сделаю!“... ***). В следующем году он писал М. П. Погодину: „к Петру приступаю со страхом и трепетом“, а жене вскоре сообщил: „(Петр) идет помаленьку,—скопляю материалы, привожу в порядок, — и вдруг вылью медный памятник“... Недели через две он даже настолько ободрился ходом работы, что писал жене: „Петр I идет; того и гляди, напечатаю I том к зиме“. Но явились, конечно, новые трудности в самой работе, представились разные неблагоприятствующие обстоя-

*) Майков, „Пушкин“, стр. 178.
**) „Русс. Стар.“, 1907, октябрь, 66.
***) Майков, „Пушкин“, 419.

тельства, и последовавшая вскоре смерть Пушкина застала его почти у самого начала задуманной монументальной работы,

„Медный памятник“ воздвигнул Пушкин Петру. Это „Медный Всадник“, которому суждено пережить Фальконетову статую,—но историю Петра ему не суждено было создать. От начатой работы остались только выписки из исторических источников, программные наброски да несколько отдельных замечаний. Удивление и даже преклонение перед Петром, как титаническим характером, не мешали Пушкину пытаться судить его как деятеля, хотя критерий этой оценки не был еще ясен самому поэту, который „постиг чувством“ своего героя раньше, чем мог его „обнять умом“. „Примечания Пушкина к указам и событиям эпохи преобразователя,—справедливо говорит Анненков *),—и тон, в котором почасту излагаются они, составляют единственную существенную часть всего его труда. В них обнаруживается тайная мысль историка,—та самая, которая неотступно преследовала его и прежде и которая помешала ему довести до конца свое предприятие и написать задуманную книгу, несмотря на весь его талант и на все его трудолюбие. Чем яснее восставала перед ним картина деятельности Петра, тем сильнее укреплялось у Пушкина представление о гениальном императоре как об олицетворении страшной бури, одинаково сметающей перед собою, без выбора и сожаления, все, что ей встречается на пути, до тех пор, пока не истощится сама собой ее природная феноменальная сила. Завзятому типу людей Александровской эпохи, каким был Пушкин, казалась тяжелою ношею даже и благодарность за великие отечественные подвиги, если они совершены с помощию крутых и нравственно-оскорбительных мер. Еще менее расположен

*) „Общественные идеалы А. С. Пушкина“ — „Вестн. Евр.“ 1880, июнь, 631—632.

был Пушкин, по личному характеру своему, оправдывать реформы, которые шли наперекор некоторым существенным народным особенностям, и возмущался ими, когда они не оставляли в покое частного, безвредного убеждения или грубо затрогивали наивные, простосердечные верования. Большое расстройство в сознание Пушкина внесено было соображением, что не вся правда целиком, и при всяком случае, стояла на стороне грозного реформатора, а между тем меры, какие он принимал для доставления торжества своим ошибкам и погрешностям, ничуть не уступали в энергии и беспощадности мерам, с помощью которых он осуществлял и свои великие предначертания: люди гибли, положения уничтожались, общество колебалось уже в пользу явной исторической невозможности, чему свидетельством остался закон о престолонаследии и друг. Сквозь призму своего установившегося воззрения на Петра I Пушкин видел, или думал, что видит, двойное лицо: гениального создателя государства и старый восточный тип „бича Божия". Рука Пушкина дрогнула... Он искал способа изобразить лик великого государя согласно со своим собственным пониманием его и не оскорбляя оффициального мира, ожидавшего безусловной апофеозы преобразователя... Пушкин так и умер, не отыскав способа примирить эти два совершенно противоположные требования"... Пытливо ищущая мысль Пушкина, быть может, разрешила бы все представлявшиеся ему противоречия. Правда, и в „Медном Всаднике" поэт не дал никакого решения, лишь поставив вопрос о нравственном и политическом смысле явления Петра, художественно изобразив столкновение беспощадной воли Великого с маленьким благом маленьких людей. Но серьезных плодов от этого труда ждали такие люди, как Чаадаев и Белинский. Пушкин, говорит Вяземский, видя в Пушкине больше художника, чем историка, „перенес бы себя во времена Петра и был бы его живым современником; но был ли бы он

законным и полномочным судьею Петра и всего, что он создал? Это другой вопрос. Не берусь решать его ни в утвердительном, ни в отрицательном отношении“ *). Вспомним, что и до сих пор мы не имеем биографии Петра, что его характер и для нас, как для Пушкина, таинственная загадка, и что вопрос о его личности и роли до сих пор вызывает страстные споры, которые, несомненно, замолкнут лишь через много веков.

Мы останавливались только на наиболее крупных исторических работах Пушкина. Поэт-историк питал еще целый ряд замыслов исторических изучений; из них некоторые были едва начаты. В его бумагах остались следы одного такого исследования—о завоевании и колонизации Камчатки, которыми Пушкин заинтересовался, вероятно, изучая при подготовке к истории Петра архивные документы XVII—XVIII столетий; для начала работы он успел приступить только к составлению для себя конспекта книги С. П. Крашенинникова о Камчатке. В его бумагах сохранился целый ряд набросков, из которых Пушкин то намечал программы будущих работ, то записывал отдельные мысли, приходившие ему в голову. Из них можно видеть, как жадно следил Пушкин за европейской исторической литературой, как глубоко и серьезно работала его мысль, какие планы зрели в его голове. Вяземский **) верно оценил в нем талант историка: „Принадлежностями ума его были емкость, проницательность и трезвость. Он не писал бы картин по мерке и об‘ему рам, заранее изготовленных, для удобного вложения в них событий и лиц, предстоящих изображению. Он не историю воплощал бы в себя и в свою современность, а себя перенес бы в историю и в минувшее... Пушкин был впечатлителен и чуток на впечатление; он был одарен во-

*) Кн. П. А. Вяземский, Сочин., II, 374.

**) Там же, 373—374.

ображением и, так сказать, самоотвержением личности своей настолько, что мог отрешать себя от присущего и воссоздавать минувшее, уживаться с ним, породниться с лицами, событиями, нравами, порядками, давным-давно замененными новыми поколениями, новыми порядками, новым общественным и гражданским строем. Все это качества необходимые для историка, и Пушкин обладал ими в достаточной мере“.

IV.

Ходячее мнение о политическом индифферентизме Пушкина, бывшее в особенной силе в „отрицательную“ эпоху шестидесятых годов, распространено до сих пор *). Часто смотрят на Пушкина исключительно как на певца „сладких звуков и молитв“, причем у этих молитв и звуков отнимается всякое общественное содержание. Между тем, даже если оставить в стороне стихи Пушкина, лучшую часть его творческого наследия, достаточно беглого, почти поверхностного знакомства с его прозаическими статьями, набросками, программами, письмами, чтобы видеть, как неуклонно, серьезно и настоятельно интересовался он общественными вопросами. Мы коснемся лишь вскользь тех богатых политических и публицистических элементов, которыми так обильны его повести, романы, поэмы, лирика, но укажем на публицистические заметки и статьи, составляющие видный отдел в его прозе. Значение этих материалов особенно увеличивается тем,

---

*) „Он в сущности не интересовался политическими вопросами“—решает г. А. Слонимский („Политические взгляды Пушкина“—„Историч. Вестн.“ 1904 г., июнь, 986). Другой критик говорит о политических стихотворениях Пушкина („Чаадаеву“, „Деревня“, „Вольность“), что они—„результат чьих-то горячих, искренних, серьезных речей, случайным слушателем которых удалось быть Пушкину“ (В. Сиповский, „Пушкин. Жизнь и творчество“, 119).

что цензурные условия времени, с которыми ему нельзя было не считаться, ставили ему, как публицисту, совершенно непреодолимые преграды, и ему почти нечего было и думать о публицистических выступлениях в печати. Но общественные стремления, конечно, брали свое и проявлялись у Пушкина положительно всюду, и часто он пробовал вкладывать в уста своих героев те слова, произнести которые запрещалось их создателю от себя. Цельной политической системы Пушкин не выработал, не потому только, что внешние обстоятельства не давали ему возможности отдаться публицистической работе, но еще потому, что безвременная смерть застала его как раз тогда, когда он много думал, много учился, и в душе его назревал тяжелый кризис. Всю жизнь он занимался общественными вопросами и старался решить их и для себя самого, и для русского общества. Об эволюции политических убеждений Пушкина сложились два крайние мнения: согласно одному поэт в Николаевскую эпоху круто и резко отказался от общественных идей 20-х годов, которые исповедывал до несчастного крушения декабристов; согласно другому—Пушкин, наоборот, нисколько не изменил этих воззрений своей юности до конца жизни. Оба эти мнения нам представляются неправильными. Пушкина никак нельзя считать ни в какую пору его жизни типическим выразителем идей 20-х годов, идей, с которыми всегда было лишь нечто общее в основе его воззрений на социальные отношения, но и представителем Николаевского периода он не явился. Правда, между Пушкиным 20-х годов и Пушкиным 30-х годов есть значительная разница, но она легко об'ясняется ходом исторических событий, которые влияли не только на Пушкина, много-много кое в чем „соревновавшего“ деятелям тайного общества, этим настоящим двадцатникам с головы до ног, но и на действительных участников неудавшегося переворота, которым суждено было пережить 25-ый год. Корни тех

политических тезисов, которые защищал Пушкин в 30-х годах, лежат еще в его деятельности двадцатых годов. Выработать и носить в душе строго определенный политический идеал, полюбить его, грудью стоять за него—не всякому дано. Такие люди, люди типа Каховского или Рылеева, редки. Большинство людей в сущности лишено этого дара. У них существуют убеждения не как непоколебимый догмат, оправдывающий их жизнь, дающий ей особый высокий смысл и управляющий поступками, а как нестройная сумма разнородных, не собранных в одно целое мыслей, расположений, антипатий и вкусов. Наш великий поэт в качестве политического мыслителя не выделялся из большинства. Если у него, как у человека большинства в этом отношении, не было определенной системы политических воззрений, несмотря на все его старания выработать такую систему, то были некоторые „благие мысли", относившиеся скорее к конечным идеалам современного ему поколения, которых он всецело никогда не отвергал, хотя и не принимал всецело, чем к способам достижения этих идеалов. Когда на его глазах растаяла в геройской, но безуспешной борьбе та общественная сила, которую представляли собою декабристы, он возложил свои надежды на правительственную силу, на самодержавие, в котором,—справедливо или несправедливо, но во всяком случае прямо и искренне,—еще видел задатки жизненности и творчества. Как в 1819 г., когда он мечтал увидеть „народ не угнетенный и рабство, падшее по манию царя", так после 1825 г. он „глядел вперед без боязни", ожидая от „мания царя" одного только блага. Как понимал он общественное благо,—об этом говорят, кроме стихов, главным образом его публицистические труды.

Из всех зол русской жизни особенно бросалось в глаза всем честным людям самое элементарное зло дореформенной России—крепостное право. Отношение Пушкина к институту рабства—неизменно определен-

ное. „Политическая свобода наша неразлучна с освобождением крестьян"—прямо и без колебаний заявляет он в 1821—1822 г.г. (заметки о русской истории XVIII века). В 1834 г., далеко не расположенный к Радищеву, он цитирует („Мысли на дороге") из его книги картину продажи крестьян с публичного торга и прибавляет: „картина ужасная тем, что она правдоподобна. Не стану теряться вслед за Радищевым в его надутых, но искренних мечтаниях... с которыми на сей раз соглашаюсь поневоле". Далее Пушкин выписывает из Радищева рассказ о помещике-тиране и замечает: „помещик, описанный Радищевым, привел мне на память другого, бывшего моего знакомого лет 15 тому назад. Молодой образ мыслей и нежность тогдашних чувствований отвратили меня от него"... Пушкин рассказывает, что этот „маленький Людовик XI" был убит своими несчастными крестьянами; по тону небольшого, скромного, строго-фактического повествования видно, что поэт далеко не жалеет об убитом тиране. В тех же „Мыслях на дороге" Пушкин старается („Русская изба", „Разговор с англичанином о русских крестьянах") смягчить краски, показать, что положение английского фабричного гораздо хуже судьбы русского мужика, что крестьянский вопрос в России может быть решен сравнительно без особых трудностей, так как у нас нет пролетариата: „в России нет человека, который бы не имел собственного своего жилища. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет свою избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности. Наш крестьянин опрятен по привычке и по правилу: каждую субботу ходит он в баню, умывается по нескольку раз в день". Пушкин смотрел на положение крестьян даже слишком спокойно, с неоправдываемой ничем, кроме натуры самого поэта, уверенностью в ровном и нормальном ходе событий. „Кажется, что нет

в мире несчастнее английского работника; но посмотрите, что делается там при изобретении новой машины, избавляющей вдруг от каторжной работы тысяч пять или шесть народа и лишающей их последнего средства к пропитанию... У нас нет ничего подобного. Повинности вообще не тягостны. Подушная платится миром, барщина определена законом, и оброк не разорителен. Помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своего крестьянина доставать оный как и где он хочет. Крестьянин промышляет чем он вздумает, и уходит иногда за 2.000 верст вырабатывать себе деньгу"... И, предвидя простые возражения на эту своего рода крепостную идиллию мужицко-дворянского строя, Пушкин тут же прибавляет: „злоупотреблений везде много, уголовные дела везде ужасны". Чувствуя, что в устах русского человека эти слова будут не особенно убедительны, Пушкин переделал эту главу („Русская изба") в разговор с англичанином, который, повторяя, что „повинности в России не очень тягостны, оброк не разорителен", что крестьянин „свободен" уходить за две тысячи верст добывать деньги для барина,— горячо убеждает собеседника: „и это называете вы рабством? Я не знаю во всей Европе народа, которому было бы дано более простора действовать". Душу народа Пушкин понял гораздо вернее, чем его экономическое состояние. Ни разу не усомнился он в будущности своего народа, ни разу не спросил в отчаянии, подобно Некрасову: „ты проснешься ль, исполненный сил, иль, судьбы повинуясь закону, все что мог ты уже совершил,—и духовно на веки почил?.." На будущность народа Пушкин смотрел бодро и радостно: „взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи? О его смелости и смышлености и говорить нечего. Переимчивость его известна; проворство и ловкость удивительны... Никогда не встретите вы в нашем народе того, что французы называют badaud; никогда не заметите в

нем ни грубого удивления, ни невежественного презрения к чужому"... То же повторяется и в „разговоре с англичанином", который на вопрос: „неужто вы русского крестьянина почитаете свободным?—отвечает: „взгляните на него: что может быть свободнее его обращения с вами?.. Вы не были в Англии... То-то! Вы не видали оттенков подлости, отличающей у нас один класс от другого"... Это направление мыслей внушило Пушкину уверенность, что „судьба крестьянина улучшается со дня на день, по мере распространения просвещения. Избави меня Боже быть поборником и проповедником рабства; я говорю только, что благосостояние крестьян тесно связано с пользою помещиков,—и это очевидно для всякого"...

Эту наивную социально-экономическую схему Пушкин трактовал часто. Лишь очень немногие умы эпохи понимали и чувствовали необходимость уравнения сословий. Весь уклад государственной жизни казался Пушкину в общем прекрасным и отлично приспособленным к служению добру, а если и есть кое-какие отклонения от желательного порядка, то это еще беда небольшая: где их не бывает! В одну из минут вдохновенного прозрения поэт рассказал о том ужасе, когда „человека человек послал к Анчару властным взглядом... и умер бедный раб у ног непобедимого владыки", но для бедного раба не нашел другого исхода, кроме великодушия и расчетливости владыки, которому не следует зря истощать и губить раба. В програме статей о дворянстве *) Пушкин так излагал свою теорию: „Что такое потомственное дворянство?—Сословие народа высшее, т.-е. награжденное большими преимуществами касательно собственности и частной свободы.—Кем?—Народом или его представителями.—С

*) П. В. Анненков, „Общественные идеалы А. С. Пушкина"—„Вестн. Евр." 1880 г., июнь, 605.

какою целью? — С целью иметь мощных защитников (народа) или близких и непосредственных к властям представителей. — Какие люди составляют сие сословие?—Люди, которые имеют время заниматься чужими делами.—Кто сии люди?—Отменные по своему богатству или образу жизни... — Чему учится дворянство?—Независимости, храбрости, благородству, чести вообще.—Не суть ли сии качества природные?—Так, но образ жизни может их развить, усилить или задушить.—Нужны ли они в народе, так же, как, например, трудолюбие?—Нужны, и дворянство — la sauvegarde трудолюбивого класса, которому некогда (?) развивать сии качества"... Прямой вывод из этого катехизиса российского торизма был тот, что noblesse oblige, и что на дворянстве лежит выдающаяся культурная миссия. Свободно выполнить эту миссию дворянство может лишь при наследственном сохранении своих привилегий: „наследственные преимущества высших классов общества суть условия их независимости. В противном случае классы эти становятся наемниками и несут их обязанности".. *) „L'hérédité de la haute noblesse est une garantie de son indépendance"... **).

Десять лет назад Пушкин думал иначе: „аристократия после [Петра I] неоднократно замышляла ограничить самодержавие; к счастью, хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож, и образ правления остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма, и существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян. Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили бы для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей государ-

---

*) Сочин. Пушкина, изд. Литерат. фонда, V, 170.
**) Там же.

ственных. Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство; нынче же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян...“ С явным сочувствием мерам верховной власти в ее борьбе с аристократией Пушкин замечал тогда: „памятниками неудачного борения аристократии с деспотизмом остались только два указа Петра III о вольности дворян, указы, коими предки наши столько гордились и коих, справедливее, должны были бы стыдиться“ *). Теперь, в начале тридцатых годов, Петр и его преемники уже не были в глазах Пушкина спасителями народа от феодализма и окончательного порабощения. Петр был для него теперь великим революционером: „Tout à la fois Robespière et Napoléon (la révolution incarnée“); он и его преемники вплоть до Александра I, при котором Сперанский, „popovitch turbulent et ignare“, широко раскрыл доступ в дворянство разночинцам, всячески старались принизить дворянство, чтобы не дать ему вырости в сильный наследственный класс, чтобы „окружить деспотизм послушными наемниками и подавить всякую оппозицию, и всякую независимость“ **). В Пушкине здесь сказался „родов униженных обломок“, которого он с такой симпатией вывел в бедном, скромном Евгении „Родословной моего героя“ и „Медного Всадника“. Пушкин даже стал думать, что 14 декабря на Сенатской площади мятежники появились как обиженные дворяне! Он записал в своем дневнике 1834 г. ***) любопытную беседу с в. к. Михаилом Павловичем. „Или дворянство“ -- говорил Пушкин — „не нужно в государстве, или должно быть ограждено и не доступно иначе, как по собственной воле государя. Если в дворянство можно будет поступать из других

*) „Исторические замечания“ (там же, 11).
**) Сочин. Пушкина, изд. Литерат. фонда, V, 170.
***) Сочин. Пушкина, изд. „Просвещения“, VI, 570.

сословий, как из чина в чин, не по исключительной воле государя, а по порядку службы, то вскоре дворянство не будет существовать, или (что все равно) все будет дворянством *). Что касается до tiers-état, что же значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями **), с просвещением, с ненавистью противу аристократии ***) и со всеми притязаниями на власть и богатства? Эдакой страшной стихии мятежа нет и в Европе.—Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много"... „Tous les Romanoffs sont révolutionnaires et niveleurs", сказал Пушкин великому князю, который говорил: „Зачем преграждать заслугам высшую цель честолюбия? Зачем составлять tiers-état, эту вечную стихию мятежей и оппозиции?" Таким образом, с узко-дворянской точки зрения Пушкин ставил себя в оппозицию революционному духу Романовых.

---

*) Я не лейб-кучер, не ассессор,
Я по кресту не дворянин,
Не академик, не профессор...
Бояр старинных я потомок.
(„Моя родословная").

**) „Обеднение Москвы доказывает... обеднение русского дворянства, происшедшее частию от раздробления имений, исчезающих с ужасной быстротою, частию от других причин"... („Мысли на дороге", гл. II). Уничтожение института майората Пушкин называл „плутовской" мерой правительства (Анненков, „Общественные идеалы Пушкина", 607).

***) „Не торговал мой дед блинами, в князья не прыгал из хохлов..." и т. д. „Куда ж мне быть аристократом?" („Моя родословная").—Героиня начатого Пушкиным романа в письмах говорит: „Владимир Z мне нравился, но никогда я не предполагала выйти за него. Он аристократ, а я смиренная мещанка. Спешу об'ясниться и с гордостью заметить, что родом принадлежу я к старинному русскому дворянству, а что мой рыцарь внук бородатого миллионщика".

Эта оригинальная оппозиция унизившему дворянство самодержавию отводила в своей государственной системе неслыханно высокое место дворянству. Пушкин хотел, чтобы дворянство заняло положение английских лэндлордов, и находил („Мысли на дороге", гл. V) „тысячи причин, повелевающих нам присутствовать в наших поместьях, а не разоряться в столицах под предлогом усердия к службе, но в самом деле из единой любви к рассеянности и чинам". Одной из этих причин он считал рекрутский набор, для которого „власть помещиков в том виде, как она теперь существует, необходима. Без нее правительство в губерниях не могло бы собрать и десятой доли требуемого числа рекрут". Устами одного из своих героев он говорил: „звание помещика есть та же служба. Заниматься тремя тысячами душ, коих все благосостояние зависит совершенно от нас, важнее, чем командовать взводом или переписывать дипломатические депеши. Небрежение, в котором мы оставляем наших крестьян, непростительно. Чем более имеем мы над ними прав, тем более имеем и обязанностей в их отношении. Мы оставляем их на произвол плута приказчика, который их притесняет, а нас обкрадывает; мы проживаем в долг наши будущие доходы и разоряемся; старость нас застает в нужде и хлопотах. Вот причина быстрого упадка нашего дворянства: дед был богат, сын нуждается, внук идет по миру. Древние фамилии приходят в нищенство, новые подымаются и в третьем поколении исчезают опять. К чему ведет такой материализм? Не знаю, но пора положить этому преграды". „Дворянство"—писал Пушкин *)—„всегда казалось мне необходимым и естественным сословием всякого образованного народа. Смотря около себя и читая старые наши летописи, я сожалел, видя, как древние дворян-

*) Сочин., изд. Литературн. фонда, V, 118.

ские роды уничтожились, как остальные упадают и исчезают, как новые фамилии, новые исторические имена, заступив место прежних, уже падают, ничем не огражденные, и как имя дворянина, час от часу униженное, стало, наконец, в притчу и в посмеяние даже (!) разночинцам, вышедшим в дворяне, и досужим журнальным балагурам". Тревожное предчувствие разорения и гибели русского дворянства Пушкин высказывал в стихах, в набросках „Родословной моего героя", сливающегося с противопоставленным в „Медном Всаднике" Петру Великому несчастным чиновником, голодным потомком старинных бояр:

Мне жаль, что мы, руке наемной
Вверяя чистый свой доход,
С трудом в столице круглый год
Влачим ярмо неволи темной,
И что спасибо нам за то
Не скажет, кажется, никто...
Что не живем семьею дружной,
В довольстве, в тишине досужной,
В своих владеньях родовых,
Что наши села, нужды их
Нам вовсе чужды... что спроста
Из бар мы лезем в tiers-état,
Что будут нищи наши внуки...

Стремление к этому барскому „хождению в народ" долго наблюдалось в русской жизни. Лев Толстой, уходя в конце 40-х годов из города в родовую деревню, рассуждал: „зачем искать в другой сфере случаев быть полезным и делать добро, когда мне открывается такая благородная, блестящая и ближайшая обязанность?" Чувство обязанности по отношению к народу придает симпатичную окраску узко-дворянскому отношению Пушкина к народу.

Сословная гордость Пушкина питалась не только сознанием выпавшей на долю дворянства важной социальной миссии, но и воспоминаниями о его былой

славе. Не раз повторял он и в критических заметках, и в стихах, и от лица героев своих повестей и романов свои любимые мысли об этом. „Я без прискорбия никогда не мог видеть унижения наших исторических родов, никто у нас ими не дорожит, начиная с тех, которые им принадлежат... Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ! Образованный француз или англичанин дорожит строкою старого летописца, в которой упомянуто имя его предка... но калмыки не имеют ни дворянства, ни истории... Иной потомок Рюрика более дорожит звездою двоюродного дядюшки, чем историей своего дома, т.-е. историей отечества... Конечно, есть достоинство выше знатности рода— именно достоинство личное. Я видел родословную Суворова, писанную им самим. Суворов не презирал своим дворянским происхождением. Имена Миниха и Ломоносова вдвоем перевесят, может быть, все наши старинные родословные. Но неужто потомству их смешно было бы гордиться сими именами?" *). Но до крайностей Пушкин еще не доходил, высокий ум брал свое—и, с гордостью противопоставляя аристократии, которая „с трудом может назвать своего деда", дворянскую чернь, которая „считает между своими родоначальниками Рюрика и Мономаха", он соглашался, что „достоинство всегда достоинство, и государственная польза всегда требует его возвышения" **). Один лишь раз Пушкину изменил его всегдашний такт: это когда он, справедливо протестуя против булгаринских

*) Там же, IV, 356—357; сравн. там же, 367—368, 399—400; III, 554, 555; V, 58, 118.

**) „Гости с'езжались на дачу" („Разговор на рауте"). „Весь этот разговор"—проницательно замечает Анненков—„кажется передачей действительной беседы, слышанной автором, по всем вероятиям, в каком-либо из аристократических и дипломатических салонов Петербурга, куда он был вхож" („Обществ. идеалы П—на", 610—611).

нападок на литературную аристократию, группировавшуюся в редакции „Литературной Газеты“ 1830 г. (Пушкин, кн. П. А. Вяземский, бар. А. А. Дельвиг), воспользовался в борьбе с противниками их же обычным оружием, „оружием инсинуации“, как признает даже стоящий вообще на его стороне Анненков *),— и поместил в „Литер. Газете“ две негодующие и злобные заметки. „С некоторых пор журналисты наши“ — писал он в первой **)—„упрекают писателей, которым не благосклонствуют, их дворянским достоинством и литературною известностью. Французская чернь кричала когда-то: les aristocrates à la lanterne! Замечательно, что у французской черни крик этот был двусмыслен (?!) и означал в одно время аристократию политическую и литературную“. В следующей заметке ***) он опять напоминал: „эпиграммы демократических писателей XVIII столетия приуготовили крики: „аристократов к фонарю“ и ничуть не забавные куплеты с припевом: „повесим их, повесим!“ Avis au lecteur!“ Таким образом Булгарин и К° попали в якобинцы, были выставлены потрясателями основ. Знаменитый литературный обер-шпион, сведущее лицо по литературной части при III Отделении, Фаддей Булгарин был об'явлен революционером. В бумагах Пушкина сохранились ненапечатанные им заметки, разговор между А. и Б., впервые опубликованный Анненковым ****) через пятьдесят лет. Чувствуя, должно быть, всю неуместность употребленного сгоряча недостойного полемического приема, Пушкин старался оправдаться. А. прямо спрашивает: „отчего замечание „Газеты“ показалось сначала столь предосудительным даже людям самым благомыслящим и благородным?“ Б. (т.-е. Пушкин) отвечает:

*) Там же, 600.
**) № 36, июня 25, смесь.
***) № 45, августа 9, смесь, стр. 72.
****) „Обществ. идеалы П—на“, 600—603.

„потому что политические вопросы никогда не бывали у нас разбираемы... Вопросы политические для нас еще новость"... Возражение довольно слабое: заметки, в которых предержащей власти указывалось перстом на неблагонамеренно мыслящих журналистов, далеко не похожи на трактование политических тем. Пушкин не напечатал этого разговора, очевидно, понимая, что такое возражение не только не рассеет, но даже усилит дурное впечатление, и что о сделанной тяжелой ошибке лучше постараться забыть. Анненков *) пытается извинить Пушкина „страстью и увлечением", но считает нужным отметить этот „дурной пример для предостережения будущих писателей, остающийся на страницах истории литературы как поучение и как заслуженное наказание". Так далеко могла завести Пушкина обижаемая дворянская гордость. Так было сильно его подчинение классовой психологии, туманившее его светлый ум, заставлявшее поступать наперекор нравственному чувству.

Когда не задевалось классовое чувство Пушкина, он не терял способности здраво и гуманно мыслить. В его правовых воззрениях в таких случаях почти всегда виден человек, прошедший через благородную школу естественного права, и подобных мыслей рассеяно у него там и сям немало. Но именно в качестве публициста (а нас теперь занимает эта сторона литературной деятельности Пушкина) он не выступал в защиту принципов свободы, а действовал как представитель узко-сословного сознания, в своих искренних увлечениях доходя до противоречий сущности своей натуры и омрачая свой нравственный облик, в общих, коренных чертах такой светлый и привлекательный. Это заставляло его терзаться, и в одну из таких горьких минут он задал себе тяжелый вопрос, вопрос, на который сам не нашел ответа:

---

*) „Материалы", 245.

Сохраню ль к судьбе презренье,
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?..

И он с тоскою искал прибежища своему измученному сердцу в женской любви, которая должна была заменить уставшей душе

Силу, гордость, упованье
И отвагу юных дней...

„Один из великих наших сограждан *)—писал Пушкин в разгаре печальной полемики „Литературной Газеты" **)—„сказал однажды мне (он удостоивал меня своего внимания и часто оспаривал мои мнения), что если у нас была бы свобода книгопечатания, то он с женой и детьми уехал бы в Константинополь. Она имеет свою злую сторону,—и неуважение к чести граждан и удобность клеветы суть одна из главнейших невыгод свободы тиснения". Убеждение, которое так красноречиво защищал Мильтон, говоря, что „цензура представляет собою злейшее насилие и оскорбление", то убеждение, которое так горячо исповедывал Радищев, было совершенно чуждо Пушкину. Он решительно не мог представить себе бесцензурную литературу. В своих „Посланиях к цензору" (1822, 1824 гг.), так долго бывших нелегальными, он нападал только на неразборчиво строгую и бестолково придирчивую цензуру, но в необходимости самого института цензуры никогда не сомневался, находя, что „сан" цензора „священный", что цензор—„друг писателей". Пример „Лондона" его не смущал:

Что нужно Лондону, то рано для Москвы;
У нас писатели я знаю каковы...

---

*) Вероятно, Н. М. Карамзин.

**) Сочин. Пушкина, изд. Литерат. фонда, V, 118.

Он думал даже об усилении прав цензуры и в век Бируковых и Красовских, и без того не знавших удержу, советовал по поводу нападений журналистов-разночинцев на журналистов-дворян: „не худо оградить и сословия, как ограждены частные лица, от явных нападений злонамеренности“ *). Цензуре он посвятил в „Мыслях на дороге“ целую главу („Торжок“). Здесь он опять высказывается против „бессмысленной“ цензуры, даже рассказывает очень забавные случаи из ее практики, но самую идею цензуры убежденно защищает обычными софизмами и даже предостерегает: „никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографского снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно... Всякое правительство в праве не позволять проповедывать на площадях, что кому в голову придет, и может остановить раздачу рукописи, хотя строки оной начертаны пером, а не тиснуты станком типографическим. Закон не только наказывает, но и предупреждает. Это даже его благодетельная сторона“. И Пушкин стоит именно за предварительную цензуру: „законы противу злоупотреблений книгопечатания не достигают цели закона: не предупреждают зло, редко его пресекая. Одна цензура может исполнить то и другое“. Что Пушкин, говоря так, желал литературе только добра, что он поступал искренно, это видно из того, что, заступившись в 1836 г. за литературу, на которую обрушился член Российской Академии и бездарный писатель М. А. Лобанов, и горячо защищая ее в своем „Современнике“, Пушкин все-же делил „мысли, как и действия, на преступные и не подлежащие никакой ответственности“, и верил, что в принципе „цензура есть верный страж благоденствия частного и государственного“,

*) Там же, 99.

„установление благодетельное“, лишь бы она не становилась учреждением „притеснительным“, „докучливой нянькой, следующей по пятам шаловливых ребят“. „Он злится на цензуру“—говорит Пушкин о Радищеве:—„не лучше ли было потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы, с одной стороны, сословие писателей не было притеснено, и мысль, священный дар Божий, не была рабой и жертвой бессмысленной и своенравной управы; а с другой—чтоб писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой или преступной?“

Кн. П. П. Вяземский рассказал *) со слов Пушкина об одном разговоре поэта с Николаем I в 1835 г. Беседуя с царем, поэт сказал ему, „что царствование его будет ознаменовано свободою печати“, очевидно, думая, как видно из дальнейшего, об отмене предварительной цензуры. Царь рассмеялся и ответил, что не разделяет этого убеждения. „Для меня сомнения нет,—продолжал Пушкин,—но также нет сомнения, что первые книги, которые выйдут в России без цензуры, будут полное собрание стихотворений Баркова“. Это недоверие Пушкина к русским литературным нравам и читательским запросам вполне согласуется с ироническими словами первого „Послания к цензору“: „у нас писатели я знаю каковы“... Между тем позднее поколение, перешагнувшее через рубеж 1905 — 1906 г.г. и бывшее свидетелем полной эмансипации печати, видело, что меньше всего русское свободное слово тогда заботилось о Баркове; наоборот, чем сильнее преследование печати, тем больше расцветает и плодится порнография. О том же пренебрежении и недоверии Пушкина к русскому писателю и читателю говорят его стихи:

---

*) Сборник „А. С. Пушкин“, изд. „Русск. Архива“, вып. II, М., 1885, стр. 60.

. . . Мало горя мне,—свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура... *).

Наравне с печатью Пушкин желал направить на путь служения своему государственному идеалу и воспитание народа. Взгляды свои на этот предмет он высказал в известной записке, составленной в 1826 г. по поручению Николая Павловича. С чрезвычайной уступчивостью Пушкин предложил Николаю I проект реформы воспитательной системы применительно не к прямым, самодовлеющим целям воспитания, а к видам правительства. С ужасом вспоминал он о декабристах („недостаток просвещения и нравственности вовлек многих молодых людей в преступные заблуждения") и с явным сочувствием о том времени, „лет пятнадцать тому назад", до Отечественной войны и европейских походов, когда „молодые люди занимались только военною службою, стараясь отличаться о д н о ю с в е т с к о ю образованностью или шалостями; литература (в то время столь свободная) не имела никакого направления... Десять лет спустя мы увидели либеральные идеи необходимой в ы в е с к о й хорошего воспитания, разговор исключительно политический, литературу (подавленную самою своенравною цензурою), превратившуюся в рукописные пасквили на правительство и в возмутительные песни; наконец, и тайные общества, заговоры, замыслы более или менее кровавые и безумные"... От всех этих зол Пушкин советовал „защитить новое, возрастающее поколение". Для этого правительство должно взять дело воспитания в свои руки—„нечего колебаться: во что бы то ни стало, подавить воспитание частное". В кадетских корпусах Пушкин предлагал завести особый институт—„полицию, составленную из лучших воспитанников". За

*) „Из Пиндемонте".

„похабную“ рукопись, писал Пушкин, словно совсем забывая про свои лицейские годы, следует „положить тягчайшее наказание“, а за „возмутительную“, т.-е. содержащую политический протест, попросту исключать. Телесные наказания воспитанников Пушкин предлагал уничтожить, чтобы слишком жестокое воспитание не сделало из них палачей, так как „они будут иметь право розги и палки над солдатом“. Замечательно, что против этого гнусного „права“ Пушкин не обмолвился ни словом. Едва ли он сделал это потому, что должен был говорить только об учебном воспитании; в записке он говорит смело и о других предметах: „чины сделались страстью русского народа“, „в России все продажно“... Просто Пушкин слишком приучил к обычным картинам русского военного быта свой глаз, который когда-то с отвращением глядел на них; прошли те годы, когда он хвалил Алексея и Михаила Орловых за гуманное обращение с солдатами. Забывая о разных „Неопытных перьях“ и „Лицейских мудрецах“, сыгравших такую хорошую роль в жизни первых лицеистов, забывая свои первые литературные дебюты или, напротив, намекая на свою полную „заблуждений“ юность и косвенно испрашивая ей забвения, Пушкин писал: „во всех почти училищах дети занимаются литературою, составляют общества, даже печатают свои сочинения в светских журналах. Все это отвлекает от учения, приучает детей к мелочным успехам и ограничивает (?) идеи, уже и без того слишком у нас ограниченные“. Таковы были рекомендуемые Пушкиным мероприятия отрицательного характера. Отчасти искренно выражая свои мысли, отчасти сознавая, что царь подвергает его экзамену, и вместе с тем желая принести пользу, Пушкин, вероятно, старался как можно яснее удостоверить свою благонамеренность. Под флагом ее он высказал несколько важных истин и дал несколько действительно полезных советов. Он предлагал расши-

рить учебные программы, повысить научные требования, ввести в курс правоведение, статистику, политическую экономию, историю (конечно, по Карамзину). Особенное внимание Пушкин обратил на преподавание последней. „Не должно, чтобы республиканские идеи изумили воспитанников при вступлении в свет и имели для них прелесть новизны"; для этого „можно с хладнокровием показать разницу духа народов, источника нужд и требований государственных". В конце записки автор выразил надежду, что государь позволит ему „повергнуть пред ним мысли касательно предметов более близких и знакомых". Вероятно, Пушкин разумел здесь цензуру, которая тогда реформировалась; поэт очень интересовался этой реформой *). Основной принцип Пушкина был выражен в словах: „одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия". Но царь не поддался на „авансы" Пушкина, и записка была принята холодно. Шеф жандармов ответил вскоре поэту от имени государя, что не просвещение и не „гений" (о последнем у Пушкина не сказано ни слова,—это, конечно, прямой укол Пушкину) служат „основанием совершенству", а „нравственность, прилежное служение, усердие"... **). Под флагом благонамеренности Пушкину не удалось провезти свою небогатую либеральную контрабанду, и записка не принесла никаких плодов. Пушкин ею не угодил: „мне"—говорил он одному приятелю ***)— „легко было бы написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать

---

*) См. его письма к П. А. Осиповой 15 сентября и к Н. М. Языкову 9 ноября 1826 г.

**) Быть может, Пушкин думал о Бенкендорфе, когда писал („Друзьям") о льстеце, который говорит царю: „просвещенья плод—разврат и некий дух мятежный"...

***) Майков, „Пушкин", 177.

добро"... Но добро, необходимо заметить, покупалось непомерно дорогой ценою: условия, при которых Пушкин расчитывал провести в жизнь это добро, должны были только парализовать его действие, и правительство, которое отказалось совместить несовместимое, нельзя упрекнуть в недостатке последовательности.

Подобными противоречиями нас не раз поразят публицистические статьи и заметки Пушкина. С мечтами о дворянской оппозиции самодержавию, например, очень плохо вяжется представление о монархе, как об азиатском деспоте, на которого подданные не смеют поднять взоры. Личное участие Николая в усмирении бунта военных поселений вызвало замечание в дневнике *) Пушкина (это обстоятельство особенно подчеркивает его искренность): „народ не должен привыкать к царскому лицу, как обыкновенному явлению... Царю не должно лично сближаться с народом. Чернь перестанет скоро бояться таинственной власти и начнет тщеславиться своими отношениями с государем". Великий князь Михаил Павлович однажды жаловался Пушкину на заметку „Северной Пчелы", где было сказано: „государь с высоты Красного крыльца низко (низко!) поклонился народу... Как восхитительно было видеть великого государя, преклоняющего священную главу перед гражданами московскими!" Сетуя на дерзость „журналиста-дурака", Михаил Павлович говорил Пушкину: „не забудь, что это читают лавочники". Пушкин, внеся этот разговор в свой дневник **), прибавил: „великий князь прав"...

Вообще на положение России Пушкин смотрел с преувеличенным оптимизмом, которого совершенно не оправдывала повседневная действительность. Еще в

---

*) 26 июля 1831 г.
**) 22 декабря 1834 г.

начале двадцатых годов *) он находил, что в России все обстоит как нельзя благополучнее: „желание лучшего соединяет все состояния... твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас на-ряду с просвещенными народами Европы"... Еще с меньшим историческим пониманием он мог питать „надежду славы и добра" в начале царствования Николая I; на эти ожидания история ответила расцветом „официальной народности", страшной полицейщиной сороковых годов и севастопольским позором. Немудрено, что не только Радищев с его пламенной книгой **), но и гораздо более умеренный Николай Тургенев ***) казались ему политическими „фанатиками". Своей эпохой в смысле движения вперед он был очень доволен: „конечно, должны еще произойти великие перемены; но не должно торопить времени, и без того уже довольно деятельного"—писал он ****) в одну из самых мертвых эпох русской жизни, в середине 30-х годов:— „лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества"... *****). Призрак революции пугал Пушкина, который, наконец, дошел до того, что не мог говорить спокойно о Радищеве и его книге, этом „сатирическом (?) воззвании к возмущению". Пушкин признал его горькие жалобы на печальное положение народа „преувеличенными и пошлыми", нашел в его „Путешествии"—„невежественное (!) презрение ко всему прошедшему, слабоумное (!) изумление перед своим веком",—веком Вольтера, Мирабо, Франклина!—„сле-

*) Кишиневская статья о России в XVIII веке.

**) „Александр Радищев", 1836 г.

***) Записка о народном воспитании.

****) „Мысли на дороге", гл. XI.

*****) Эти слова повторяет П. А. Гринев в VI главе „Капитанской дочки".

ное пристрастие к новизне, частные, поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему"... Не отрицая честности и искренности Радищева, Пушкин тут же обличает его в желании вызвать скандал, „произвести шум и соблазн". Как ни хотелось Пушкину соблюсти в своих отзывах о Радищеве известный оттенок почтительности к памяти честного писателя, так смело высказавшего свои убеждения и так тяжко за это поплатившегося, чувство злобы в конец ослепило его, и он закончил свою статью словами, обличающими чудовищное непонимание Радищева: „...пошлое и преступное пустословие... нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви"... Последние слова могут быть справедливо отнесены к самой статье Пушкина, составляющей одну из печальных страниц истории его жизни. Характерно, что ненавидевший Пушкина министр С. С. Уваров нашел статью „недурною", а Уваров, создатель знаменитой формулы „православие, самодержавие и народность", умел мастерски отличать „дурное" от „недурного".

Публицист-Пушкин стоял несравненно ниже Пушкина-художника. Как художник, он завещал нам в своих произведенияхх общий дух гуманности и добра, привходивший в самую красоту его творений и совершенно неотделимый от нее. Прекрасное не могло не быть добрым. Но сословное, узкое, не общечеловеческое, мы сказали бы—временное, свойственное эпохе, над которой Пушкин как гражданин никогда не возвышался, не было прекрасным. Однако, спеть полным голосом гимн торжествующей силе Пушкин все-таки не мог, подобно так напоминающему его типом гения „умному льстецу" Горацию, радостно провозглашавшему:

В страхе народ, укрощен властелинами;
Воля Юпитера правит царями...

Николай I совсем не походил на Августа; не был похож и Пушкин на спокойно, самодовольно уверен-

ного в своем политическом credo, безмятежного эпикурейца Сабинской долины.

Соблюдая историческую перспективу, мы, конечно, не должны ни в чем обвинять поэта, но не можем не сказать, что в этой перспективе он, в качестве общественного мыслителя, стоял только на уровне своего времени. Не в силах возвыситься над классовой психикой своей среды и пытаясь дать идеологическое обоснование своему классовому сознанию, он впадал в этих попытках в противоречия с своею совестью, он упорно трудился ищущей мыслью и, конечно, страдал, не находя примирения с самим собою. Эти страдания сильно осложнили и запутали душевную драму Пушкина и влили немало яда в ту горькую чашу, которую пришлось испить ему в конце своей жизни, и в которой последней и, быть может, наименее жгучей каплей была пуля Дантеса.

V.

Рядом с работой художника у Пушкина все время шла работа критика. Провозгласив: „у нас нет литературы“, он, конечно, не мог не сказать: „у нас нет критики“, и повторял эти слова очень часто. „Критики у нас, чувашей, не существует“, писал он Вяземскому в 1824 г. Когда А. А. Бестужев находил, что „у нас есть критика, но нет литературы“, Пушкин возражал: „где ты это нашел? Именно критики у нас и недостает. Мы не имеем ни единого комментария, ни единой критической книги... Что же ты называешь критикой?.. Признайся, что это все (журнальные статьи) не может установить какого-нибудь мнения в публике, не может почесться уложением вкуса... Нет, фразу твою скажем наоборот: литература кой-какая у нас есть, а критики нет“... Вся наша словесность до XIX века казалась ему необозримой „пустыней“, где „Слово о полку Игореве“ представляется уединенным памятником, и лишь „несколько сказок и песен, беспрестанно поновляемых литературным преданием, сохранили драгоценные полуизглаженные черты народности“... В этой пустыне лишь недавно начала показываться кое-какая растительность, и, конечно, не откуда было еще взяться критике. Хаотическую массу отзывов и рецензий, печатавшихся в журналах двадцатых—тридцатых годов, Пушкин справедливо отказывался признавать критикой: „критика в наших журналах,—писал он,—или ограничивается сухими библиографическими известиями, сатирическими замечаниями, более или менее остроумными, общими дружескими похвалами, или просто превращается в домашнюю переписку издателя с сотрудниками, с корректором и проч... Произведения нашей литературы,

как ни редки, но являются, живут и умирают, не оцененные по достоинству... Не говоря уже о живых писателях, Ломоносов, Державин, Фонвизин ожидают еще египетского суда. Высокопарные прозвища, безусловные похвалы, пошлые восклицания уже не могут удовлетворить людей здравомыслящих". Около того же времени (1830 г.) Пушкин пытался об'яснить это состояние критики: оно, говорил он, „доказывает степень образованности всей литературы вообще. Если приговоры журналов наших достаточны для нас, то из сего следует, что мы не имеем еще нужды ни в Шлегелях, ни даже в Лагарпах.... Наша критика может представить несколько отдельных статей, исполненных светлых мыслей и важного остроумия. Но они являлись отдельно, в расстоянии одна от другой, и не получили еще веса и постоянного влияния. Время их еще не приспело"... Спустя три года он снова высказал ту же мысль (по поводу сочинений Катенина): „критики по настоящему, еще у нас не существует: несправедливо было бы нам и требовать оной. У нас и литература едва ли существует, а на нет—суда нет, говорит неоспоримая пословица. Если же публика может довольствоваться тем, что называется у нас критикой, то это доказывает только, что мы не имеем нужды ни в Шлегелях, ни даже в Лагарпах"... В ожидании этого времени зрелище современной критики представлялось ему очень печальным, и он подвел ей итог: „все, что у нас называется критикой, одинаково глупо и смешно". Недобросовестные и пошлые журнальные споры Пушкин осмеял в „Домике в Коломне": „мы возимся в грязи, торгуемся, бранимся так, что любо.... Кто просто врет, кто врет еще сугубо... Друг на друга словесники идут, друг друга режут и друг друга губят и хором про свои победы трубят"... Через год он повторял: „у нас литература не есть потребность народная. Писатели получают известность посторонними обстоятельствами, публика мало ими занимается; класс читателей ограни-

чен, и им управляют журналы, которые судят о литературе как о политической экономии, о политической экономии как о музыке, т.-е. наобум, по наслышке, без всяких основательных правил и сведений, а большею частью по личным расчетам". Служа послушным зеркалом литературной жизни, критика, писал Пушкин, „дает понятие об отношениях писателей между собой, о большей или меньшей их известности, наконец, о мнениях, господствующих в публике",—и только. Похвалы, расточаемые иногда этой критикой, лишь обличают ее ничтожество: „неверный перевод, бледное подражание сравниваем без церемонии с бессмертными произведениями Гёте и Байрона"... Мало-мальски же серьезной критике Пушкин готов был прощать даже „педантизм", дурной тон" и „грубость", видя в них „залог добросовестности и любви к истине". И если „критика литературная у нас ничтожна", то это потому, что „в ней требуется не одного здравого смысла, но и любви к науке": Под конец своей жизни Пушкин снова говорил (в „Современнике"): „критика находится у нас еще в младенческом состоянии. Она редко сохраняет важность и приличие, ей свойственные; может быть, ее решения часто внушены расчетами, а не убеждением.

Однако, презирая современную критику, он не находил возможным молчать о ней, потому что считался с силой фактов. Так, по поводу непопулярности Боратынского он заметил: „правда, что довольно трудно оправдываться там, где не было обвинения, и что, с другой стороны, довольно легко презирать ребяческую злость и площадные насмешки, — тем не менее их приговоры имеют решительное влияние". Пример такого влияния дает одно признание самого Пушкина: „сказано было, что историческая достоверность моего труда*) поколебалась от разбора г. Броневского". Это смутило

*) „История Пугачевского бунта".

Пушкина, и в своем ответе на рецензию Броневского он писал: „вот доказательство, какое влияние имеет у нас критика, как бы поверхностна и неосновательна она ни была!“ Глупые критические статьи не столько сердили Пушкина, сколько забавляли; он смотрел на них как на бессознательные пародии на критику: „кажется, если б я захотел над ними посмеяться, то ничего бы не мог лучшего придумать, как только перепечатать их безо всякого замечания“. Но Пушкин понимал, что китайски благоговевший перед печатной бумагой и лишенный всякой самостоятельной мысли читатель иначе относился к журнальной критике. „Я видел, что самое глупое ругательство и неосновательное суждение получают вес от волшебного влияния типографии. Нам все еще печатный лист быть кажется святым. Мы всё думаем: как это может быть глупо или несправедливо? Ведь это печатно!“ „Публика,—говорил он,—как судия беспристрастный и благоразумный, всегда соглашается с тем, кто последний жалуется ей“. При таком младенческом состоянии и критики, и общества Пушкин считал необходимым и вместе с тем нетрудным делом построить на этой девственной почве здание „истинной“ критики—„забрать в руки общее мнение и дать нашей словесности новое, истинное направление“. Он мечтал: „если бы все писатели, заслуживающие уважение, доверенность публики, взяли на себя труд управлять общим мнением, то вскоре критика сделалась бы не тем, чем она есть“. Он даже не особенно винил читателя, для которого „истинная критика не занимательна“, потому что он к ней не приучен и лишь „изредка смотрит на драку журналистов, мимоходом слушает монолог раздраженного автора или пожимает плечами“... В одном черновом диалоге Пушкин явно склонен взвалить значительную долю этой вины на „писателей, заслуживающих уважение“ и в том числе на самого себя. Когда один собеседник говорит: „Пушкин читает все №№ „Вест-

ника Европы“, где его ругают... и отвечает эпиграммами“, другой возражает: „но сатира не критика, эпиграмма не опровержение. Я хлопочу о пользе словесности, не только о вашем удовольствии“... Правда, что „истинный талант доверяет более собственному суждению, основанному на любви к искусству, нежели малообдуманному решению записных аристархов“, но обществу-то нужна строгая критическая система, которая могла бы управлять „общим мнением“. Многие годы, думая о собственном журнале, хлопоча о правительственном разрешении, подбивая друзей принять в журнале участие, кое-чем для этого поступаясь (между прочим, соглашаясь видеть „в заглавии кучки“ даже малосимпатичного ему Дмитриева), Пушкин мечтал создать не только политический орган, но и литературный—для насаждения „истинной критики“.

Строго обдуманной критической системы Пушкин не оставил, но те основы „истинной критики“, которые он вывел своим удивительным художественным вкусом и чутьем и которые много раз старался об'яснить и формулировать, обнаружить нетрудно. Рано созревши как писатель, он столь же рано созрел как читатель. Суждения его всегда отличались полной самостоятельностью. За много лет до Белинского, в середине тридцатых годов смутившего читателей „посягательством“ на поэтический венец Ломоносова и Державина, Пушкин разрушал раздутую славу целого ряда прежних писателей, об'ясняя ее отсутствием критики: „уважаю в Ломоносове великого человека, но, конечно, не великого поэта... Кумир Державина, 1/4 золотой, 3/4 свинцовый, доныне еще не оценен... Княжнин безмятежно пользуется своей славою, Богданович причтен к лику великих поэтов, Дмитриев также“. Подобных решительных и тонких суждений, впоследствии поразивших своей новизной у Белинского, в письмах и заметках Пушкина рассеяно много. Но Пушкин не довольствовался отдельными замечаниями, а хотел создать критическую

систему. Вяземскому, в своем известном предисловии к первому изданию „Бахчисарайского фонтана“ ратовавшему за романтизм, он писал вскоре (1825): „все (даже и ты) имеют у нас самое темное понятие о романтизме. Об этом надобно будет на досуге потолковать“. „Сколько я ни читал о романтизме, все не то“, писал он Бестужеву. Определения романтизма Пушкин не дал. Нельзя считать таким определением слова поэта, что романтическая школа „есть отсутствие всяких правил, но не всякого искусства“ *). Однако, из всех употреблений этого термина видно, что под романтизмом Пушкин разумел то новое направление в искусстве, которое освобождало творца от оков обветшавших теорий, конечно, не отвергая одной теории — полной поэтической свободы. Он даже предлагал вовсе отказаться от всяких определений, основывающихся на такой неуловимой, иррациональной функции, как „дух“, и различать произведения по формальным признакам. „Сбивчивым понятием о сем предмете,—говорил он,—обязаны мы французским журналистам, которые обыкновенно относят к романтизму все, что им кажется ознаменованным печатью мечтательности и германского идеализма или основанным на предрассудках и преданиях простонародных. Определение самое неточное“. Но еще неудачнее его собственное об'яснение, „какие роды стихотворений должно отнести к поэзии романтической“:—„те, которые не были известны древним, и те, в коих прежние формы изменились или заменены другими“. Правда, полное научное определение романтизма не дано никем до сих пор, но пушкинское определение представляет собою скорее уклонение от ответа, чем ответ на вопрос. Это значило, например, отвергать возможность романтической драмы и романтической лирики, потому что многие современные формы драмы и лирики были известны древним.

*) Сочин. Пушкина, изд. Акад. Наук, IV, примеч., стр. 145.

Но эта неспособность Пушкина справиться с теоретическим вопросом, правда, весьма нелегким, нисколько не мешала ему одно время следовать романтизму, и именно романтизм, с его интересом к „предрассудкам и преданиям простонародным“, вскоре смененный благодетельным влиянием Шекспира с его безгранично-широким размахом поэтической свободы, привел Пушкина к изучению народности и дал его поэзии и новое содержание, и новые силы. Однако, многие теоретические вопросы, не столь, конечно, трудные, Пушкин решил верно. Так, он превосходно определил различие между вдохновением и восторгом: „вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и об'яснению оных. Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии. Восторг исключает спокойствие—необходимое условие прекрасного“... Стремясь к возможно большей свободе творчества, Пушкин смеялся над французским литературным уставом, для которого были дерзки слова „корова“ и „помост“. Об'ясняя, что такое народность, под которой в его время обычно разумели простонародность или тривиальность, Пушкин писал: „есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу. Климат, образ жизни, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается и в поэзии“... Внимание Пушкина к теоретическим вопросам литературы, необходимо заметить, ослаблялось также сознанием некоторой преждевременности обсуждения этих вопросов в русской литературе, едва выходившей еще на самостоятельный путь и обладавшей слишком легким багажем для того, чтобы эти вопросы и возможно, и нужно было решать. С презрением отвергая французский литературный канон, он одно время (1827 г.) не мог решить, своевременно ли печатать „Бориса Годунова“, который так не подходил под этот канон: „воспитанные под влиянием

французской литературы, русские привыкли к правилам, утвержденным ее критикою, и неохотно смотрят на все, что не подходит под сии законы". Сознавая это, он готов был сделать даже уступку своему времени: „нововведения опасны и, кажется, ненужны... Читая жаркие споры о романтизме, я вообразил, что и в самом деле нам наскучила правильность и совершенство классической древности и бледные, однообразные списки ее подражателей, что утомленный вкус требует иных, сильнейших ощущений и ищет их в мутных, но кипящих источниках новой народной поэзии. Мне казалось, однако, довольно странным, что младенческая наша словесность, ни в каком роде не представляющая никаких образцов, уже успела немногими опытами притупить вкус читающей публики; но, думал я, французская словесность, всем нам с младенчества и так коротко знакомая, вероятно причиною сего явления... Искренно признаюсь, что я воспитан в страхе почтеннейшей публики и что не вижу никакого стыда угождать ей и следовать духу времени". Это первое признание ведет к другому, более важному: „так и быть, каюсь, что я в литературе скептик (чтоб не сказать хуже), и что все ее секты для меня равны, представляя каждая свою выгодную и невыгодную сторону. Обряды и формы должны ли суеверно порабощать литературную совесть? Зачем писателю не повиноваться принятым обычаям в словесности своего народа, как он повинуется законам своего языка?..." Но при всем своем „скептицизме" Пушкин очень скоро, если не теоретически понял, то почувствовал чутьем прирожденного критика, что вопрос здесь не исчерпывается формой и гораздо глубже:—„Годунова" он выпустил в свет, и его предчувствие сбылось: читательская масса не только не поняла теоретического значения драмы, но даже не почувствовала ее поэтической ценности.

Предоставляя самим произведениям своим создавать „истинную критику", здравую литературную теорию, и

почти совсем отказываясь от решения коренных теоретических задач, Пушкин взял в руки „метлу“ и занялся „черной“ работой, выступая в качестве рецензента и полемиста. Прежде всего ему пришлось отвечать на обвинения в „безнравственности“. Подобные обвинения до сих пор сплошь да рядом поднимаются в критике. По поводу одного такого обвинения, вызванного появлением „Графа Нулина“, Пушкин писал: „безнравственное сочинение есть то, коего целью или действием бывает потрясение правил, на коих основано общественное счастие или достоинство человеческое. Стихотворения, коих цель—горячить воображение любострастными описаниями, унижают поэзию, превращая ее божественный нектар в воспалительный состав, а музу—в отвратительную колдунью. Но шутка, вдохновенная сердечною веселостью и минутною игрою воображения, может показаться безнравственною только тем, которые о нравственности имеют детское или темное понятие, смешивая ее с нравоучением, и видят в литературе одно педагогическое занятие“. И Пушкин написал очень остроумную пародию на эту стыдливую критику—примерный „разбор Федры, если бы, к несчастию, написал ее русский и в наше время“. Русской критике Пушкин ставил в пример французскую, которая нисколько не „оскорбилась“ появлением сказочек Альфреда де Мюссэ. „Строгость приличий была об‘явлена в приказе по всей французской литературе,—вдруг явился молодой поэт с книжечкой сказок и песен и произвел недоумение... Как приняли молодого проказника? За него страшно. Кажется, видишь негодование журналов и все ферулы, поднятые на него“, рисует Пушкин картину бури, которая поднялась бы в „нравственной“ русской критике,—и продолжает: „ничуть не бывало. Откровенная шалость любезного повесы так изумила, так понравилась, что критика не только его не побранила, но еще сама взялась его оправдать... Давно бы так, милостивые

государи"... Однажды Пушкин шутя грозил своей музе, что ее „наглою, безнравственной журналы прозовут".

В связи с „Годуновым" Пушкина особенно занимала теория трагедии. „Что развивается в трагедии? Какая цель ее?—спрашивал он в своих заметках.— Человек и народ—судьба человеческая, судьба народная. Вот почему Расин велик, несмотря на узкую форму своей трагедии. Вот почему Шекспир велик, несмотря на неравенство, небрежность, уродливость отделки. Что нужно драматическому писателю? Философия, бесстрастие, государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка, любимой мысли. Свобода". Здесь Пушкин, конечно, столкнулся с утилитарной теорией, стесняющей безграничную свободу творчества, требующей от него пользы и верности природе. В духе своего любимого этико-эстетического исповедания, поэтически выраженного в „Черни" и „Поэту", Пушкин говорит: „между тем, как эстетика со времен Канта и Лессинга развита с такой ясностью и обширностью, мы все еще остаемся при понятиях тяжелого педанта Готшеда; мы все еще повторяем, что прекрасное есть подражание изящной природе, и что главное достоинство искусства есть польза. Почему же статуи раскрашенные нравятся нам менее чисто мраморных и медных? Почему поэт предпочитает выражать мысли свои стихами? И какая польза в Тициановой Венере или в Аполлоне Бельведерском?"

Отказ от служения обыденной „пользе", от подчинения литературы политике и морали Пушкин сочетал с пониманием иной, высшей полезности, которою служит обществу литература. Например, даже неряшливую, полную грубостей и личных нападок полемику своего времени Пушкин ценил как один из зачатков нарождающейся гласности и открытого критического отношения к общественным деятелям. „Нападения на писателя и оправдания, к коим подают они повод, суть важный шаг к гласности прений о действиях так на-

зываемых общественных лиц (hommes publics),—к одному из главнейших условий высокообразованных обществ; в сем отношении и писатели справедливо заслуживающие презрение наше, ругатели и клеветники, приносят истинную пользу. Таким образом дружина писателей и ученых стоит всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности. Не должно им малодушно негодовать, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности ремесла. Таким образом и возрастает могущество общего мнения, на котором в просвещенном народе основана чистота его нравов. Мало-по-малу образуется и уважение к личной чести гражданина". Поэтому сам он никогда не отказывался поднять брошенную противником перчатку: „если ты"—говорил он—„пришел на сходку, то не прогневайся—какова компания, таков и разговор; если шалун швырнет в тебя грязью, то смешно вызывать его биться на шпагах, а не поколотить его просто; а если ты будешь молчать с человеком, который с тобой разговаривает, то это с твоей стороны обида и недостойная гордость"... А как Пушкин умел „колотить", об этом можно судить по его ядовитым полемическим статьям о Грече и Булгарине, о Каченовском, которых он, кроме того, не раз „прихлопнул проворно эпиграммой". В своих „детских сказочках" Пушкин дал остроумные карикатуры на Свиньина, Надеждина и Полевого, в „Альманашнике" нарисовал типическую картинку современных литературных нравов и впервые вывел едва нарождавшийся тогда тип „мошенника пера". Вообще в полемических статьях Пушкина, полных задора и остроумия, чувствуются настоящие удары львиных когтей, и они, наравне с его эпиграммами, навсегда останутся великолепными, класическими образцами полемики.

В качестве журнального критика Пушкин выступал редко, что об'ясняется главным образом тем, что ему,

вследствие сосредоточения всей журналистики в руках несимпатичных ему литературных монополистов, просто негде было печататься; большинство его критических статей не было им доведено до печатного станка. Пушкина-рецензента можно упрекнуть скорее в излишней снисходительности, чем в придирчивости. Снисходительность была одной иа самых симпатичных черт его щедрой натуры, но, помимо того, он был сознательно, нарочито благодушен в оценке новых литературных явлений, встречая их с нежной заботливостью садовника, смотрящего на первые, слабые побеги молодых растений. Так он нашел „истинную поэзию“ даже у холодного и скучного Катенина, но снисходительность отзыва легко об‘ясняется словами той же рецензии: „у нас литература едва ли существует“; считал большой величиной Дельвига... Появление „Илиады“ в переводе Гнедича он восторженно приветствовал как „высокий подвиг“. Одна из лучших критических статей Пушкина посвящена поэзии Боратынского, которого преследовала современная критика, и которого Пушкин впервые справедливо определил как поэта мысли; ту же мысль впоследствии блестяще развил Белинский.

В середине тридцатых годов Пушкину суждено было увидеть прекрасное литературное явление, которое убедило его, что его труды не прошли и не пройдут даром, и что выработанный им идеал будет достигнут. „В гроб сходя, благословил“ он московский кружок поклонников Фихте, Шеллинга и Гегеля, из которого вышел Белинский (Белинского он даже собирался пригласить в „Современник“). От увлечений кружка Пушкин был далек, но значение его оценил верно: „мы—писал он в „Современнике“—не принадлежим к числу подобострастных поклонников нашего века, но должны признаться, что науки сделали шаг вперед. Умствования великих европейских мыслителей не были тщетны и для нас... Германская философия,

особенно в Москве, нашла много молодых, пылких, добросовестных последователей, и хотя говорили они языком малопонятным для непосвященных, но, тем не менее, их влияние было благотворно и час от часу становится более ощутительно". Сходясь в общей оценке движения европейской мысли с мнением самого кружка, Пушкин находил, в „Мыслях на дороге", что немецкая философия „спасла нашу молодежь от холодного скептицизма французской философии". В молодой московской школе Пушкин, уже знакомый с „Литературными мечтаниями", увидел возможность осуществления своего идеала критики. Это была уже не наивная критика доброго недавнего времени, решавшая, по меткому выражению Пушкина, что мол „это хорошо, потому что прекрасно, а это дурно, потому что скверно"; новая критика твердо устанавливала свои принципы, не говоря уже о честном, об'ективном отношении ее к делу.

Если Пушкину и не суждено было создать законченную критическую теорию, то все-же для научного понимания литературы он, столько давший литературе-искусству, сделал немало. „Где нет любви к искусству, там нет и критики", говорил Пушкин *), и русской критике можно было явиться лишь после Пушкина, гениальные художественные произведения которого окончательно пробудили в русских людях любовь к искусству. Самым ярким и первым проявлением действенной силы этой любви была школа Белинского. Пускай она заимствовала у германской философии свои философские принципы, но самый могучий толчок и возможность применения дорогих ей принципов дал ей глава великого периода русской литературы, предчувствовавший и провозвестивший „истинную критику".

---

*) Этими словами кончается неизданный еще набросок статьи о критике (см. „Пушкин и его современники" выпуск IV, стр. 28).

VI.

Одной из самых любимых прозаических работ Пушкина была автобиография, к которой он часто возвращался. От нее до нас дошли лишь остатки. „Несколько раз—писал Пушкин—принимался я за ежедневные записки и всегда отступался из лености". Самые ранние автобиографические попытки относятся еще к лицейскому периоду жизни поэта; известны также остатки кишиневского дневника. „В 1821 году—рассказывает Пушкин—начал я мою биографию и несколько лет сряду занимался ею. В конце 1825 года, при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь свои тетради, которые могли замешать имена многих, а может быть и умножить число жертв. Не могу не сожалеть о их потере; я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, с откровенностью дружбы или короткого знакомства"... Вероятно, к автобиографии относится клочок бумаги, где записана встреча поэта со своим дедом (в 1817 г.). О своих записках Пушкин сообщал в 1824 и 1825 гг. брату. Рылеев знал о них и однажды спрашивал Пушкина: „что твои записки?" Катенину Пушкин сообщал в сентябре 1825 года: „пишу свои mémoires, т.-е. переписываю набело скучную, сбивчивую черновую тетрадь". Вяземский интересовался записками Пушкина и просил его прислать извлечение из них, где говорится о Карамзине; несколько страниц, посвященных Карам-

зину и его „Истории“, сохранились; сохранился также клочок воспоминаний о встрече с Державиным на экзамене в лицее. В черновых тетрадях Пушкина встречается не мало вырванных страниц; в числе их, вероятно, были черновики тех воспоминаний, которые Пушкин переписывал набело в 1825 г.; сжегши беловую рукопись и боясь тщательного обыска, он не пожалел и черновых листов. Когда опасность миновала, Пушкин снова взялся за дневник; дневные записки он, повидимому, собирался впоследствии переработать в воспоминания; самый ранний известный отрывок из этого дневника относится к осени 1827 г. (о встрече с Кюхельбекером, произведшей сильное впечатление на Пушкина). Систематически заниматься дневником он, однако, не стал и временно приостановил записки. Вернулся Пушкин к этому намерению в начале тридцатых годов, но и тут дело не пошло далеко; известно лишь начало новых записок под заглавием: „Родословная Пушкиных и Ганибалов“. К автобиографии, подвергшейся „об‘ективированию“, повидимому, потому, что Пушкин хотел воспользоваться этими страницами для печати, должны быть отнесены наброски: „Участь моя решена, я женюсь“... которые Пушкин хотел озаглавить: „с французского“. К тому же времени следует отнести черновую программу записок, обнимающую его жизнь с самого раннего детства до 1825 г.; эта исчерканная страница—один из самых важных материалов для биографии Пушкина; в ней обращают на себя внимание замечательные отметки: „ранняя любовь“, которую Пушкин узнал ребенком 6—8 лет; „философские мысли“, когда ему было 12 лет. В 1831 г. Пушкин одно время опять вел поденные записки, и с этого времени, быть может после небольшого перерыва, он вел до начала 1835 года свой дневник, от которого дошла до нас лишь вторая тетрадь (первая неизвестно куда девалась), обнимающая период с ноября 1833 года до февраля 1835 г. На за-

писки Пушкина нельзя смотреть как на нечто законченное; поэт тщательно собирал все, что казалось ему важным, и думал использовать этот запас в разных отношениях—и для автобиографии, и для истории, и для беллетристики. „Недаром"—говорит Анненков *)—„Пушкин сберегал в своих бумагах и записных тетрадях такой богатый автобиографический материал, такую громаду писем, заметок, документов всякого рода... Нетрудно понять, какой памятник оставил бы после себя поэт наш, если бы успел извлечь из своего архива материалов полные, цельные записки своей жизни... При гениальном способе Пушкина передавать выражение лиц и физиономию событий немногими родовыми их чертами и проводить эти черты глубоким резцом,—публика имела бы такую картину одной из замечательнейших эпох русской жизни, которая, может быть, помогла бы уразумению нашей домашней истории начала столетия лучше многих трактатов о ней"... Одним из лучших свидетельств гениального умения Пушкина художественно пользоваться автобиографическим материалом служит „Путешествие в Арзерум", вытекшее из дорожных заметок и воспоминаний о поездке на Кавказ и в Малую Азию.

В течение всей своей жизни Пушкин, незаметно для самого себя, составил одну из лучших своих книг—собрание писем, груду золотых слитков русского слова, роскошный фейерверк алмазных искр. Бесконечно разнообразная, интересная, живая, богатая роскошно расцветшими силами натура Пушкина отразилась в его переписке не бледнее, а с некоторых частных сторон даже ярче, чем в его лирике. Гений во всем, Пушкин гений и в своих письмах. Как под руками сказочного чудодея все обращалось в драгоценный металл, так из-под пера нашего волшебника слова летели зо-

---

*) „Пушкин в Александровскую эпоху", 309.

лотые брызги. Он был весь преисполнен творческого гения, этот неутомимый „сверчок“, певец русского народа, вечно горящая „искра“ в сумерках нашей культуры. Этим горением гения проникнуты письма Пушкина—одна из самых блестящих, богатых идеями и мыслями книг в нашей литературе. В письмах Пушкина нам дороги не только черты гения, не только поминутно сверкающие блестки высокого ума, не только звучащие на каждом шагу взрывы его божественного смеха, не только мимолетные грустные раздумья или вспышки веющего с этих старых и вместе таких молодых страниц вдохновения: мы читаем их еще как повесть о человеческой жизни, полной страданий, борений, возвышений и душевных компромиссов; мы рассматриваем их как любопытную, бесконечно запутанную и перепутанную сеть дружественных, семейственных-общественных и других отношений, то важных и необходимых, то излишних и ненужных, и они говорят нашему сердцу как трогательный рассказ о человеке, отмеченном гением, не зарывшем в землю своего таланта, стойко выносившем тягости жизни и донесшем до могилы и свой дар во всей его мощи, во всем его величии, и нерастраченный запас душевных сил, и бодрую, благословляющую, влюбленную в жизнь улыбку. Прекрасно сказала о нем русская Рекамье—А. О. Смирнова: „нет ничего поэтичнее его жизни и смерти“. Письма—главный источник для изучения истории его жизни, и это делает их особенно интересными для нас. Письма, по чьему-то счастливому выражению,— „единственная вещь, которая людей отсутствующих делает присутствующими“. Преодолев пространство, они преодолевают и время, и в письмах Пушкина оживает для нас великий поэт, воскресает его эпоха. Все, что есть в них случайного, временного, мелочного, отпадает само собою, даже не удерживается памятью, а надвременное, вечное, „пушкинское“ входит в нашу литературу как одно из прекраснейших ее сокровищ. В

этой книге „жизнь и поэзия — одно“: жизнь дает содержание, поэтическое чувство всю ее пронизывает насквозь. Собрание писем Пушкина — великолепный калейдоскоп богато одаренного человеческого духа. Тон их необыкновенно разнообразен; количество интересов, занимающих поэта, поразительно; в них яркая и полная радуга различных настроений. Они—настоящие образцы эпистолярного стиля, поражающие своим бесконечным разнообразием. Жуковскому и Гнедичу Пушкин пишет в почтительно-дружеском тоне младшего приятеля, обращающегося к старшему; глубоким дружеским чувством отличаются его письма к Дельвигу; в письмах к брату Льву Сергеевичу поэт является не только снисходительным старшим братом, но даже немного ментором; строго-деловые письма отличаются сухим тоном, иной раз преднамеренно-небрежным и холодно-аристократическим. И тут же рядом, в дружеских письмах, рассыпаны крупицы аттической соли, пушкинского юмора, его лукавой насмешливости; переходы от глубокомысленного к легкому, от важного к забавному еле заметны, грациозны и просты. Эпиграммы, шутки, сценки, остроты—и бок-о-бок с ними ряд „ума холодных наблюдений и сердца горестных замет“, и все это на каком удивительном языке! Язык Пушкина и, между прочим, его писем—это тот „великий, могучий, правдивый и свободный русский язык“, слыша который, по вдохновенному слову Тургенева, „нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу“. Письма Пушкина годны не только для изучения; еще в большей степени это—просто книга для чтения, живая, увлекательная. Недаром они, наравне с посмертными произведениями, своим появлением вызывали сенсацию в публике; Тургенев читал и обнародовал письма поэта с трепетным благоговением и глубоким сознанием их психологической и эстетической ценности. Каждому они могут дать столько, сколько кто в силах от них взять. Политический историк, бытописатель,

анекдотист, поэт, просто ценитель прекрасного, юноша, старик — каждый, читая их, найдет много полезного, значительного в их всеоб'емлющем круге, каждый услышит в собственном сердце отголоски на них. Закончим общую характеристику этой части пушкинского наследия, оставленного русской культуре, словами одного нашего критика: „Когда мне бывает тяжело и скверно, я нахожу поддержку в умнейшей из умных русских книг, в „Письмах Пушкина“. Я не знаю на русском языке книги более умной, более глубокой, более поучительной и более прекрасной в своей непосредственности. Русская жизнь, пройдя через призму великого ума и русского сердца, вылилась в этих письмах в блестящие пятна вечно живых акварелей, в короткие фразы, которые кажутся стальными орудиями мысли“...

ОГЛАВЛЕНИЕ.